

Евгений Рейс

Автобиографические  
записки

# Родина

The cover features a complex abstract design. A large, white, stylized title 'Родина' is the central focus. The letter 'О' is filled with a dark, circular image of a cloudy sky. The background is a collage of geometric shapes: a large purple triangle, a red triangle, and a blue circle. Black lines of varying thicknesses crisscross the composition. In the upper left, there's a sketch of a ship's rigging. In the lower left, a blue circle contains a cross-like symbol. The overall style is reminiscent of mid-20th-century graphic design.



Евгений Рейс 1930 г.

Автопортрет

**Евгений Рейс**



**Автобиографические  
записки**

**Москва  
Русский путь  
1999**

ББК 84 (2Рос) 6  
Р 35

ISBN 5-85887-060-0

Дизайн Г.Берштейна

В оформлении обложки использована работа  
В.Кандинского «Мечтательный порыв» (1923)

© Е.Рейс, 1999  
© Г.Берштейн, дизайн, 1999  
© Русский путь, 1999

*Казанова пишет, что 13 лет работы над «Мемуарами» дали ему возможность вновь пережить всю свою жизнь.*

## I

В канцелярии Владимирского собора в Киеве, матери городов русских, записано мое рождение 3 декабря 1906 года.

Мои первые воспоминания относятся к 1910 году. Прогулки с няней в Царском саду, золотая осень... Я бегаю по аллеям, покрытым толстым ковром листопада. На краю парка открывается глубокая пропасть и необъятная панорама перламутрового Днепра с далекими излучинами, тающими за свинцовым горизонтом.

Впечатления становятся более четкими. Первое горе. Я получил в подарок чижику. Птичка казалась совсем ручной, открывая клетку, я подставлял ей руку, она садилась и чирикала. Однажды он нагадил мне на ладонь, я безотчетно сжал кулак, а разжав пальцы, увидел, что мой чижик был мертв. Чувство вины продолжает меня преследовать по сегодняшний день. Второе горе было связано с моей няней, милой, молодой и красивой. Тут я должен сказать несколько слов о моих родителях. Отец, по рождению австриец, но совершенно обрусевший, был

императорский и королевский чиновник австрийского консульства в Киеве. И он, и моя мать были страстными театрами и актерами-любителями, как это было весьма распространено в России. Все их свободное время посвящалось участию в любительских спектаклях и тому, что с ними было связано — читкам, репетициям с последующими ужинами в клубах и ресторанах. Затем во время сезона были театральные премьеры иностранных гастролеров — Сары Бернар, Элеоноры Дузе, Сальвини, Росси и других европейских знаменитостей. Такая жизнь была ежедневной, и я почти не видел своих родителей, тогда как с няней проводил 24 часа в сутки. Результатом была моя привязанность к ней и отрицательное отношение к няне родителей. Няню рассчитали, и я, затаив горе, возненавидел ее заместительницу. На следующий день я потребовал покупки большой куклы похожей на мою няню. Мама уступила, но скоро кукла мне разонравилась. Мы вернулись в магазин, где ее обменяли на униформу кирасира. С позолоченным кивером на голове я вернулся домой. Скоро грусть рассеялась, так как родители стали посвящать мне больше времени.

В возрасте четырех лет я первый раз был в театре. Любили, сняв красивый театр Соловцова, давали «Проделки Скапена» Мольера. Я с нянькой сидел в первом ряду, представление было утренником, и большинство зрителей состояло из детей. При каждом появлении Скапена я хлопал в ладоши, а узнав на сцене маму, по пьесе плакавшую, не удержался и закричал: «Не плачь, мама, не плачь!»

К пятому году моя мать преподавала мне русскую азбуку, а отец — готические и латинские буквы. Очень скоро я читал несложные слова по-русски, а по-немецки названия городов и стран. То, что моим первым немецким словом было Вюртемберг, тогда еще королевство, сегодня мне кажется странным —

так как больше 20 лет моя резиденция находится в Шварцвальде, т.е. Вюртемберге.

Моим любимым развлечением были «Контракты», традиционная ярмарка с балаганами, шарманками, неизменным Петрушкой, с множеством палаток, где продавались всевозможные кустарные изделия и продукты, игрушки, куклы, игры, изделия из марципана, леденцы, чудесный, дивно пахнущий сотовый мед.

Я начинаю сопровождать маму по магазинам, к портнихе, иногда мы завтракаем в ресторане Ротса, где подавали к бульону невообразимо вкусные маленькие пирожки. Мне рано стали доставлять удовольствие атмосфера эlegantного ресторана, метрдотель во фраке и улыбки нарядных дам, несомненно, восхищенных моим матросским костюмчиком с длинными панталонами «клеш». Такой же успех я имел у Семадени — лучшем кафе в городе и в гостинице «Франсуа», похожей на дворец с большим холлом и монументальной лестницей из красного дерева, очень схожими с отелем «Connaught» в Лондоне.

Скоро меня повели в синемаграф, недавно открывшийся на Крещатике, главной улице Киева. Это воспоминание не потеряло отчетливости за 88 лет, особенно яркое освещение и ряды бамбуковых кресел с мягкими и удобными подушками, крытыми темно-синим бархатом. В программе были хроника «Патэ-Журналь» и комическая лента с Максом Линдером. Я, конечно, не знал, что через 20 лет буду работать в киноателье Патэ в Париже.

Однажды один знакомый отца, бывший в Киеве представителем компании Форд, предложил ему на весь день новый автомобиль модели «Т», с шофером. Я с родителями поехали сначала через Цепной мост — оригинальное сооружение, висящее на гигантских стальных цепях и протянутое через весь Днепр, а потом в Святошин, главное дачное место под городом, где мы



устроили пикник. Этот тогда еще новый способ передвижения было интересно испробовать, тем не менее я предпочитал легковые пролетки на дутых шинах, какие еще можно увидеть в Вене, их мягкие рессоры и сиденья, глухой стук подков по торцовой мостовой.

В 1911 году отец уезжал на короткое время в Москву для разговора со знакомым австрийцем-киевлянином о новой области коммерческой деятельности в России, связанной с неслышанным расцветом промышленности, а именно той, что сегодня называется маркетингом. Отец сразу получил очень интересные предложения с хорошими перспективами в будущем. Личные средства отца и консульский оклад хватали молодому холостяку, повсюду приглашенному (в некоторых случаях в красивой консульской форме с крестом Франца-Иосифа), но этого было едва достаточно для семьи. Посоветовавшись с женой, он подал в отставку, не без сожаления решившись иметь вместо дипломатического обыкновенный австрийский паспорт. Вскоре мы переехали в Москву.

Город мне показался странным. Как я понял гораздо позже, Киев в центре напоминал Вену и был более западным городом, нежели Москва со своей хаотической смесью Азии, итальянского Кремля и псевдославянского Василия Блаженного.

После недели в гостинице «Люкс» на Тверской, когда я уже успел оценить по достоинству и филипповские пирожки и не менее знаменитую фруктовую пастилу у Белова, мы переехали в квартиру у Патриарших прудов с полным комфортом и телефоном, номер которого я помню до сих пор: 5.49.05.

Следующим важным событием в моей юной жизни была приглашенная родителями гувернантка фрейлин Преториус, солидная, уже немолодая немка из Кенигсберга — города Канта и тевтонских рыцарей.

Моя гувернантка не знала ни слова по-русски, в глазах родителей это было достоинством. Обладала спокойным и твердым характером, и мне сразу понравилась. Желая дать мне космополитическое образование, меня собирались определить в Лазаревский институт, где знание немецкого было полезно, или в школу Петра и Павла, где оно было необходимо.

Фрейлин Преториус говорила с отцом по-немецки, я к ним прислушивался, затем усердно заучивал слова и произношение и вскоре мог писать простые и короткие фразы по-немецки готическими буквами, как тогда было принято. Параллельно я занимался с мамой русским языком и в результате смог прочитать первую книжку в русском переводе — «Том Соьер» Марка Твена.

Моя гувернантка вышла из известной школы Фребеля. Одним из принципов ее преподавания была обязательная работа руками: она меня учила обращаться с ножницами, бумагой, картоном, делать обложки для книг и пр. Как будущий солдат я обязан был уметь пришивать пуговицы, чему вскоре и научился. Я мог также отрегулировать электрический звонок и, главное, был всегда занят, не зная скуки безделья.

Мы совершали ежедневную прогулку к Патриаршим прудам, где зимой я бегал на коньках. По дороге я рассматривал витрины магазинов. В писчебумажных были выставлены открытки со всеми фигурами танго знаменитой пары танцоров Вилли и Крюгер. Я был околдован хищной грацией красивой танцовщицы с перьями райской птицы в прическе и узким платьем с разрезом до бедра. 15 лет спустя я уехал из Берлина в Париж, что и помешало мне быть представленным Эльзе Крюгер.

Круг знакомых моих родителей был в Москве очень ограничен. Чаще всего мы встречались с сестрой отца, которая была замужем за бельгийцем. Мой дядя Альфред Люикс был одним из пионеров русской кинотехники в области проката. Полнеющий светлый блондин с белыми ресницами, всегда в прекрасном на-

строении, с ослепительной улыбкой белых зубов, он воплощал тип фламандца, кем он и был. Он и тетя Клара умели жить и отличались отменным вкусом. В первый визит мы были очарованы их новым жилищем. Маленький деревянный, выкрашенный в палевую краску особняк с классическим фронтоном и четырьмя дорическими колоннами стоял в Большом Левшинском переулке (№8). Построенный, вероятно, в начале 19 столетия, он под сводом пышных деревьев соседних садов казался декорацией.

Входная дверь находилась сбоку и открывалась в длинную, застекленную галерею, в глубине, после двух ступенек, обставленную бамбуковой мебелью, обитой английским ситцем. В этом помещении пили утренний чай. По соседству был небольшой холл с дверьми в две спальни, столовую, офис и кухню, деревянная лестница вела на антресоли. В столовой была мебель в стиле бельгийского модерна с двумя зеркальными буфетами, диваном с высокой спинкой и полкой с обязательными семью слонами на счастье. В глубине открывалась арка в салон с французской мебелью и концертным роялем. Я не скрывал своего восторга, что трогало бездетную пару, меня баловали подарками, книгами с картинками и железной дорогой.

Позже я еще буду упоминать об этом чудесном домике.

## II

Летом мой отец должен был совершить деловую поездку вниз по Волге и посетить шесть городов. Он решил для меня и мамы сделать это путешествие увеселительным, моя гувернантка в это время могла бы провести свои каникулы в Кенигсберге.

Я представлял себе эту поездку похожей на те, которые описаны в одной из первых мною прочитанных книг «Жизнь на

Миссисипи» Марка Твена. Сиреневый пароход компании «Самолет» своими большими боковыми колесами напоминал американский плавучий дом. Попав на борт, я сразу оценил наши каюты, комфорт, вкусную еду — «Самолет» славился своей кухней, а главное — чудесным клюквенным квасом цвета рубина и лимонадом «Ситро».

После Нижнего Новгорода, от которого у меня не осталось никаких воспоминаний, кроме ярмарочной сутолоки, мы остановились на два дня в одной из казанских гостиниц. Казань, вероятно, самый интересный из волжских городов, родина легендарной царицы Сумбеки — родоначальницы Юсуповых, древняя столица татарских ханов, двухсотлетних властителей Руси. Город, построенный из розового кирпича, с шумом и криком азиатского базара, пестрыми халатами и тюбетейками купцов, пирамидами прозрачного темно-красного, глицеринового мыла — знаменитого здешнего продукта, большие глыбы которого разрезали проволокой. В закусочных под открытым небом за гривенник давали миску пахучего плова, народ собирался в дымных татарских кофейнях.

Из Казани мы уехали на следующем пароходе, на этот раз компании «Кавказ и Меркурий», с винтом сзади, а не старомодными лопастями. В Саратове мы сошли на берег. Город мне понравился уютом и благоустроенностью. В память запал магазин фотографических принадлежностей, где многочисленные камеры, казалось, гипнотизировали меня своими объективами, как глазами. Не было ли это предзнаменованием моей будущей профессии?

Умолчу о Самаре и Царицыне (будущий Сталинград), их непроходимой скуке и облаках белой пыли, висевшей над этими городами.

Наш пароход часто перегонял сплав леса — длинные вереницы плотов с хижинками для плотовщиков, по вечерам под от-

крытым небом варивших рыбную похлебку и перекликавшихся со смехом и свистом с нашими матросами.

В Жигулях, где была короткая остановка, на борт взяли бочку известного в России жигулевского пива. Вечером в ресторане на всех столах красовались кружки с высокими шапками белой пены.

После Жигулей Волга ширилась и становилась все красивей, обрамленная высокими берегами, поросшими густым, зубчатым сосновым лесом. Я стоял на носу, глядя, как чайки летели за кормой парохода. Одна из них отделилась от стаи, вдруг взмыла с гортанным криком, борясь со встречным ветром, секунду неподвижно висела в воздухе и лихим скольльзящим полетом вкось обогнала пароход.

Панорама меня поражала все больше и больше. Необъятный простор, необъятное небо на закате бледно-желтое и фиолетовое, гигантские свинцовые тучи — все это я вспомнил, увидев позднее картину Левитана «Над вечным покоем».

Выйдя утром на палубу, я осмотрелся. Берегов больше не было видно. Пароходный офицер мне сказал, что мы находимся в дельте Волги, имеющей здесь семь верст в ширину. В конце дня мы подошли к Астрахани. Уже с борта парохода была видна жизнь большого торгового порта. Обычная суматоха, пыль столбом, удушливая жара, крючники — полуголые персы в лохмотьях, разгружавшие пароход, держали железным крюком на спине многопудовые ящики с листовым железом и сходили на землю по узкой, гнущейся доске. Иные спали где-нибудь в тени, другие ели большую лепешку с головкой чеснока — обычную их еду. Подводы, арбы, запряженные верблюдами, увозили товары. Это была Азия.

Два дня в Астрахани мы оставались на пароходе, здешнюю гостиницу из-за клопов нам решительно отсоветовали.

Поутру составила́сь компания́ для поездки по городу. Нам подали линейку, запряженную парой лошадей. Этот странный экипаж нас не удивил: мы его знали по Крыму. Он состоял из длинной, покрытой войлоком и чистой накидкой скамьи под балдахином белого полотна с кисточками и шариками во всю длину. Пассажиры сидели спиной друг к другу.

Весь город казался протухшим рыбой базаром. Нас познакомили с тем, как добывают так называемую «салфеточную» икру. Белугу свежего улова бросают на мраморный стол. Рабочий, видно мастер своего дела, одним ударом большого ножа вскрывает рыбное брюхо, двумя руками вырывает икру, сорвав пленку, бросает ее под сильный душ холодной воды и ловко откидывает на большую, белоснежную салфетку. Затем в чистом виде, без соли и средств, предохраняющих от порчи, икру запечатывают в банки и ставят на лед. В сравнительно небольшом количестве она идет в некоторые магазины и рестораны Петербурга и Москвы. Мой отец в день нашего отъезда получил в подарок банку фунтов в пять, сразу поставленную в пароходный ледник. Метрдотель получил приказ подавать ее пассажирам 1-го класса к утреннему завтраку с горячим калачом. Мы, не сходя с парохода «Достоевский», благополучно доплыли до Нижнего Новгорода и на следующий день были в Москве.

Летние месяцы мы почти всегда проводили на даче в Перловке, в полчаса езды от Ярославского вокзала, в чудесных подмосковных сосновых лесах.

Жили мы как все. Мать моя с прислугой хлопотала по хозяйству, я занимался с репетитором-студентом, который готовил меня к поступлению в Лазаревский институт в Москве. После завтрака мы с мамой шли к соседям, где играли в крокет и пили чай. Потом был отдых в саду, в гамаках — обязательной при-

надлежности всех дачных мест. Я зачитывался Марк Твенем, Диккенсом и Жюль Верном.

В конце дня отец возвращался из Москвы. За редкими исключениями он, живя на даче, работал в своем бюро все лето. До обеда мы иногда ездили на велосипедах, отец и мама на tandeme, бывшем в большой моде, у меня была своя маленькая машина.

После обеда шли гулять, согласно обычаю, на станцию. Дорога по просеке шла через сосновый бор, воздух был упоителен, легко дышалось полной грудью, никому не хотелось разговаривать или курить. Подходя к вокзалу, уже издали слышали знакомое шелканье, это были бильярдные шары. В окнах нашего маленького вокзала виднелись освещенные лампами зеленые столы и силуэты игроков в странных позах, с киями в руках. Пройдя через буфет с батареей разноцветных бутылок с водками и ликерами, мы выходили на платформу — центр светской жизни в Перловке. Перрон был переполнен элитой местного общества. Дамы в длинных кружевных платьях, с веерами или лорнетами, в больших шляпах или сложных прическах с цветами или перьями, «эспри» тогда были в большой моде. Мужчины носили темно-синие пиджаки и белые брюки, на голове панамы и канотье. Местные денди, или, как тогда говорили, «франты» имели толстые трости, украшенные серебряными вензелями, которые обычно дарили друзьям на память. Держать трость полагалось за шей, ухватив двумя руками за концы. Шляпу франты сдвигали на затылок и, расставив ноги, покачивались с носка на каблук. Подобные манеры в те наивные времена делали кавалеров неотразимыми. Кроме франтов были и другие персонажи: богатый студент в на диво натянутых рейтузах со штрипками, ловко сшитой тужурке и студенческой фуражке военного образца, а также молодой поручик с осинной талией в доведенных до солнечного блеска щегольских сапогах

со шпорами и висящим из заднего кармана георгиевским шнуром портсигара.

Раздавались приветствия, восклицания, смех, дамское щебетание, носился запах «Le Régent de France» и гаванских сигар.

Далеко, в темноте возникал золотой огонек. Постепенно он увеличивался, слышался нарастающий шум — это шел из Москвы ночной курьерский поезд. Шум превращался в адский грохот, публика отступала подальше от рельсов, гигантское, сверкающее металлом и маслом чудовище как молния проносилось мимо. Мелькала деревянная обшивка и бронза международных спальных вагонов, в широких окнах на секунду возникали красные бархатные диваны, абажуры ламп в вагоне-ресторане, силуэты пассажиров. Затем видение исчезало, в глубокой тьме уносились два красных огонька последнего вагона. Теперь платформа вновь жужжала как потревоженный улей, иногда выделялся женский смех или сочный фатовской баритон.

Вновь появлялся золотой огонек, замедляя ход, подходил дачный поезд, привезший гостей и запоздалых дачников, но уже было поздно, общество расходилось, родители мои, встретив знакомых, живших неподалеку от нас, также возвращались. Шли другой дорогой через мостик над журчащей речкой, в воде трепетало отражение полной голубой луны, плывшей среди облачков, в высоком небе.

Мы были приглашены к дяде Альфреду, чтобы познакомиться с его отцом, приехавшим из Одессы. Позже я узнал историю его жизни. Родившись в Брюсселе, он получил образование инженера и уехал по контракту в Россию, где начал работать в Одессе. Женившись на дочери своего бельгийского патрона, переехал в Ростов-на-Дону, трудился там три года, а затем вернулся в Одессу. Я упросил родителей оставить меня на день в Левшинском переулке. Личность Артура Люикса произ-



вела на меня впечатление. Это был высокий, красивый старик с большими усами и эспаньолкой, очень элегантный в своей визитке и светлом жилете с галстуком-пластроном на высоком воротнике. Ботинки у него были лакированные с верхом из серой замши с пуговками. Он прекрасно играл на рояле, и я внимательно его слушал.

Между прочим, рассматривая ноты, лежавшие на рояле, я обратил внимание на непонятные мне названия: «Кокаинетка», «Бал Господен», «Маленький креольчик». Я запомнил фамилию автора: Вертинский.

Иногда мама брала меня с собой в поездки по магазинам. Мне больше всего нравились «Shanks» на Кузнецком мосту, где продавались только английские товары высшего качества — все для верховой езды и тенниса, чемоданы, спортивная одежда, обувь, белье. Затем был великолепный универсальный магазин «Мюр и Мерилиз» на Театральной площади. Но самый для меня интересный магазин был «Жуков» в Верхних торговых рядах на Красной площади. Там продавалась игрушка, которой увлекались не только дети, но и взрослые — железная дорога, паровозы и вагоны в превосходном немецком исполнении. Самая большая коллекция с вокзалами, мостами, горами, туннелями была у Великого князя Дмитрия Павловича. Скоро я стал обладателем кольца рельсов и поездом из международных спальных вагонов и вагона-ресторана с миниатюрными лампочками, посудой, бельем и фигурками пассажиров. Эта игра, как и настоящие поезда, возбуждала мое детское воображение. Я рано мечтал о дальних странствиях, незнакомых странах, о новой для меня жизни, иной и неизвестной, которую я с нетерпением ожидал. Я был из тех, для кого, как писал Гумилев, «в каждой луже запах океана».

Наступил 1912 год. Приближалась Пасха. Москва была еще в снегу, но солнце грело, с крыш капало, и ручейки журчали

вдоль тротуаров. Весна ощущалась в легком воздухе, и моя шубка стала, кажется, тяжелей.

К заутрене меня берут в храм Христа Спасителя. Он весь убран белыми цветами, гигантский белораморный алтарь сияет. Служит митрополит весь в золоте, двенадцать дьяконов сотрясают воздух львиными басами.

Утром в столовой накрывают стол, на нем разноцветные пасхальные яйца, которые я помогал красить, пасха, куличи, разные закуски, икра, семга, балык, сиг, большой и румяный окорок ветчины и батарея бутылок с коньяком, хересом и белым вином «Барзак». Крепко и сладко пахнут гиацинты.

Праздник отчасти омрачен трагической гибелью «Титаника». Другой сенсацией было самоубийство Альфреда Редля. Мой отец, знавший некоторые детали, очень выразительно передавал эту историю. В Вене Редль, полковник австрийского генерального штаба, был под наблюдением русской контрразведки. После долгой проверки были собраны неоспоримые доказательства его гомосексуальности. Русский резидент вошел в контакт с полковником и предъявил ультиматум: Редль должен давать стратегические сведения, а в случае отказа, будут опубликованы разоблачения. Согласие же обеспечивало полковнику тайну и очень высокий оклад. Редль, конечно, знал, что ему грозит, в соответствии с австрийской военной дисциплиной, гражданская смерть, и ответил согласием. Через некоторое время кутежи и траты полковника были замечены, и за ним установлена слежка. Обнаружилось, что полковник ежемесячно получает по почте крупные суммы денег. Тем не менее он не был ни обвинен, ни арестован. Только гостиница «Кломзер» была под постоянным наблюдением агентов в штатском. В ней Редль занимал апартаменты из двух комнат. Прошло несколько дней, в «Кломзер» являются четыре офицера, которых Редль принимает в своем салоне. Один из них молча кладет на стол револь-

вер, офицеры отдают честь и уходят. В холле они садятся и закуривают сигары. Через час слышат выстрел.

Отец, излагая эту историю, избегал слова «гомосексуализм», заменяя его намеком понятным всем, кроме меня. В разговорах, которые я иногда слышал, были слова мне неизвестные: демимонденка, сальварсан... Их я интуитивно не старался понять, чувствуя что-то нечистое. Должен заметить, что многое, о чем я пишу, я узнал, в частности, от родителей, гораздо позже.

Мама повезла меня в Третьяковскую галерею, где мне очень понравилась и тронула картина Сомова «Дама в голубом». Знаменитое полотно Репина «Иван Грозный убивает своего сына» вызвало отвращение.

Затем мама хотела мне показать часовню Иверской Божьей Матери. Мы вошли, нас охватил жар лампад и сотен горящих свечей, ослепительный блеск золотых окладов с неправдоподобными по величине жемчугами, бриллиантами, изумрудами. Контрастом выглядели калеки, жалкие нищие в грязных лохмотьях, в экстазе простертые на затоптанном полу. Позади разночинцы и обыватели, выкатив глаза и подняв брови, спрашивали, спорили, громким шепотом называя астрономические цифры стоимости драгоценных камней.

Я выхожу на улицу, вдыхаю зимний воздух. Мне неловко.

Летом, после новой, более короткой поездки по Волге, мы снова в Перловке, где я нахожу приятное нововведение: гигантские шаги. Дети соседей, как и я, в восторге, испытывая чувство полета.

Я зачитываюсь сказками Пушкина и Гоголя. В теплые, тихие ночи едва доносятся звуки духового оркестра.

Никто не знает, что мы живем в последние дни затишья перед бурей.

### III

В понедельник 29 июня 1914 года мы, как всегда, жили в Перловке. В этот вечер мы с мамой ждали отца, который вернулся позже, чем обычно, с пакетом газет, молчаливый и озабоченный. Моя мать, взглянув на первую страницу, ахнула: газета сообщала об убийстве террористом в Сараево, в Боснии, эрцгерцога Франца-Фердинанда, племянника австрийского императора и наследника престола.

Вечером у нас собрались соседи, обсуждали события и делали предположения о возможных последствиях.

На третий день в газетах писали о заявлениях министров иностранных дел, в которых говорилось, что инцидент может быть улажен, о лихорадочной деятельности дипломатов в Европе и о волне оптимизма в европейской прессе. Все вздохнули свободно, и я, с облегчением заметив благотворную перемену в настроении моих родителей, погрузился в чтение. Мы выписывали журналы «Путеводный огонек» и «Вокруг света», я также получал «Мир приключений», целиком состоявший из переводов с английского. В семь лет я не переносил «Задуманное слово» со слащаво-сентиментальными романами Лидии Чарской. Ханжество «Хижины дяди Тома» вызывало у меня тошноту. После «Тома Сойера» моими любимыми книгами были: «Записки Пиквикского клуба», а позже «Дэвид Копперфилд».

После трех томительных недель иллюзий по поводу мирного соглашения гром грянул: 23 июля в ответ на австрийскую мобилизацию Россия, вступаясь за «братьев славян», ответила тем же, на что Германия и позже Австрия объявили России войну. Первая мировая война началась.

Следующий день был началом нашего хождения по мукам. Вечером отец не вернулся из Москвы. Мама, скрывая беспокойство, после бессонной ночи уехала в город, оставив меня на попечение соседей. Вернувшись вечером, она, видимо, стараясь говорить хладнокровно, сказала, что папа, как все австрийцы, венгры и немцы, арестован и находится в Бутырской тюрьме. Он, по всей вероятности, будет выслан куда-нибудь далеко от столицы. Наша квартира была опечатана, текущий счет и сейф в банке заблокированы.

В тот момент я впервые понял, что отец и я были иностранцы в чужой стране. Сознание этого больше никогда меня не покидало.

Наша дача была второпях ликвидирована, уже завтра мы были в Москве, в гостинице «Люкс». Мои дядя и тетя находились в Одессе. Я целый день оставался один с моими книгами в нашей комнате в отеле. Мама была с утра до вечера занята бесчисленными, часто безрезультативными и унижительными хлопотами. Каждый день она ездила в тюрьму, носила отцу «передачу», т.е. еду, тюремный паек нельзя было есть.

Я никогда не забуду долгие часы одиночества в отеле «Люкс». Иногда я выходил на балкон, наблюдал Тверскую, движение, толпы штатских и военных, шум грузовиков, автомобилей. К вечеру виднелись голубые искры, падавшие с воздушных проводов трамвая «А», пересекавшего Страстную площадь. Уже зажигались огни фонарей, витрины магазинов, кафе горели теплым светом, ярким прожектором освещалась гигантская реклама папирос на боковой стене пятиэтажного дома — голова джентльмена с квадратным подбородком бритого лица, папиросой в углу рта и надписью: «Сэр».

В моих мыслях глухое беспокойство смешивалось с неясным предчувствием больших перемен, наступления новой жизни, ненасытным желанием все знать, все понимать. Я рано отка-

зался продолжать жить в детском неведении. Эти дни стали концом моего детства.

Мама послала телеграмму в Киев с просьбой продать все, что ей принадлежит, и перевести деньги на имя дяди Альфреда, бельгийского подданного. Имея теперь немного больше времени, она брала меня с собой по делам, и мы завтракали в ресторанах. Два из них мне особенно понравились: знаменитый «Мартьяныч» на Красной площади, под сводами старинного подвала, со своими «половыми» — официантами во всем белом с длинными фартуками и «машиной» — огромным органом, могучие звуки которого заставляли звенеть хрустальные люстры, что очень нравилось купцам. Другой ресторан был «Альпийская роза» на Софийке с богатой декорацией, изображавшей сказочный грот и множество пестрых фигурок гномов.

Отъезжая на извозчике от ресторана, мы были свидетелями сцены обычной в первые дни войны. Толпа озверелых оборванцев громила немецкий магазин музыкальных инструментов Циммермана. Витрины были разбиты вдребезги, из окна первого этажа выталкивали рояль, рухнувший на тротуар, рев толпы заглушил звук лопнувших струн. Полиция отсутствовала, чтобы не препятствовать взрыву патриотического негодования русского народа.

Никто не ждал ареста и тюрьмы для всех подданных враждебных держав, этому не было примера в истории. Так многие годы спустя стало известно, что художника Кандинского война застала в Мурнау, около Мюнхена, где он жил. После недели раздумья он через Данию, Швецию и Финляндию вернулся в Москву.

Директор отеля «Люкс», затянутый в визитку и с нафабреными усами, самолично принес маме извинения с просьбой освободить комнату. По новому предписанию полиции поддан-

ные враждебных держав не имели права жить в гостинице. Мама вспомнила, что знакомый австриец жил в гостинице «Деловой двор» на Варварке. Мы тотчас поехали туда, где мама обратилась к директору, который только развел руками, сказав, что может нас принять только на три дня. К счастью, на следующий день мы узнали о возвращении дяди и тети, немедленно предложивших нам свое гостеприимство. Я был счастлив жить в домике с колоннами в Большом Левшинском переулке № 8. С утра было светло и радостно в галерее за красиво накрытым столом с блестящим серебром, голубым с золотым старым русским фарфором, свежими белыми, осыпанными мукой московскими калачами, паюсной икрой, апельсиновым вареньем и душистым китайским чаем.

Мама получила деньги из Киева, как и следовало ожидать, все было продано за полцены, но все-таки составила сравнительно крупная сумма. Она и некоторые мамы драгоценности обеспечивали нас на долгий срок.

Большинство из окружающих нас людей не верили, что эта война будет длиться, так как на австрийском фронте развертывалось русское наступление, триумфом которого было взятие важной крепости Перемышль в восточной Галиции.

Во время последнего визита в тюрьму мама узнала, что отец по этапу выслан в Вологду, старый провинциальный город в 600 верстах на север от Москвы. Он был на свободе без права выезда. На следующий день было получено от него письмо, сообщавшее, что он нашел и снял меблированную квартиру из двух комнат с садом.

Моей матери удалось получить разрешение снять печати и взять белье, носильное платье, шубы и некоторые вещи. Обстановка была отправлена на склад.

Во время приготовления к нашему отъезду я заболел. Температура поднялась до 40 градусов, и я был в полубессознатель-

ном состоянии. Врач осмотрел меня, задал несколько вопросов, выслушал маму и успокоил ее, сказав, что если бы я плакал, этого бы не произошло. То была реакция на долгое нервное напряжение и подавление чувства тревоги. Прописав бром, он ушел, обещав скорое выздоровление. На третий день я был здоров, и мы попрощались с милым домиком и гостеприимными Люиксами, проводившими нас на вокзал, по русскому обычаю, за несколько часов до отхода поезда, чтобы поужинать на вокзале в роскошном ресторане первого класса. Я уже забыл обо всех наших злоключениях и с нетерпением ожидал увидеть папу, незнакомый город и новую жизнь. Когда раздался второй звонок, мы вышли на платформу, где я почувствовал волнующий запах угля, так неразрывно связанный с мечтой о дальних странствиях, и увидел шипящий белый пар из-под длинного темно-синего спального вагона.

Утром папа ждал нас на вокзале. Мы нашли его очень бледным, похудевшим и плохо одетым. К счастью, мы привезли весь его гардероб, и он теперь сможет выбросить свою тюремную одежду. Он держал маленький букет цветов, вызвавший мамины слезы.

После обеда мы отправились погулять по городу. Я шел впереди, чтобы не мешать родителям говорить о многочисленных возникших вопросах. Мне нравится провинциальная тишина после московской сутолоки. Мы проходим мимо старой церкви, простой и прекрасной, мимо «Золотого якоря» — главной гостиницы и ресторана города. Я вижу вывеску библиотеки и прошу у родителей разрешения войти. Записываюсь и выхожу, неся журнал для юношества с романом-фельетоном «Рыцари золотой шпору», который я давно хотел прочесть.

Мы возвращаемся домой мимо бесконечных садов с осенним золотом вековых деревьев. За серыми от времени заборами



вдруг в окружающей тишине из полуоткрытого окна барского дома слышатся звуки рояля. Я охвачен тем же очарованием, что и семьдесят лет спустя в Вене, когда в одной из тихих улиц близ парка я почувствовал поэзию минуты, услышав ту же сонату Бетховена.

Наше новое жилище мне нравится. Я буду спать на диване в столовой-гостиной. Окна и двери выходят в большой, запущенный сад.

Утром отец должен, как и каждый день, расписаться в участке. Ему говорят, что, вероятно, скоро отправят дальше, на восток.

Русское наступление в Галиции приостановлено.

Утром я делаю уроки, после обеда отправляюсь в библиотеку. Я горд ходить один по городу, как взрослый. По дороге я останавливаюсь перед витриной фотографа. Хозяин выходит и спрашивает, интересуется ли меня фотография. На мой утвердительный ответ он предлагает посмотреть его лабораторию. Я с удивлением вижу в красном свете на белом листе бумаги, погруженной в проявитель, постепенное появление черт лица. Затем присутствую при съемке. Военный в полной форме стоит, опираясь на саблю, перед фоном, изображающим райский пейзаж с цветами и бабочками. Все это производит на меня впечатление, хотя я не подозреваю, что однажды буду это же делать в Берлине, Париже и Лондоне.

Вечером мы дома. Отец читает газеты, мать пишет длинные письма в Киев и Москву. Я, как всегда, погружен в чтение.

Я не помню точно, сколько времени мы оставались в Вологде. Кажется, что в начале октября отца вызвали в полицию для получения вызова на новое местожительство — в Камышлов, город в десять тысяч жителей в ста верстах на восток от Екатеринбурга, столицы Урала. Отцу давали бесплатный проезд в вагоне для скота, но он мог за свой счет ехать в пассажирском поезде.

Мы были подавлены этой перспективой, мама боялась суровой сибирской зимы, тусклого существования в захолустье вдали от цивилизации. Но у нас не было выбора, и несколько дней спустя мы вышли из спального вагона на екатеринбургский вокзал. То, что мы увидели, нас приятно удивило: это был европейский город. Выпив чай на вокзале, мы сели в поезд, который нас доставил в Камышлов. Проблема квартиры была разрешена уже на вокзале, где мы закусили, удивляясь качеству поданного и низким, сравнительно с Москвой, ценам. Радужный и словоохотливый буфетчик нам долго рассказывал об иностранных господах из Петербурга и Москвы и предложил послать извозчика к вдове-попадье, у которой сдаются хорошие комнаты для хороших господ. Через четверть часа извозчик вернулся и сказал, что попадья нас ждет. Наняв второго для багажа, мы прибыли к дому, большому, одноэтажному, сложенному из гигантских сосновых бревен с резным крыльцом и палисадником. Попадья оказалась толстой, приветливой женщиной. Улыбаясь, она нам поднесла поднос с хлебом и солью. Мы уселись за стол, нам подали брагу, наливки и сладкие пирожки. Затем мы осмотрели наши комнаты, большие, светлые, с плюшевыми креслами, диваном и коврами. В спальне кровати были большие, солидные, как и все в доме. Попадья повела нас на кухню, бывшую ее гордостью. Большая, чистая с огромной печью, которая топилась день и ночь: дома пекли хлеб и всевозможные сорта лепешек, «шанежек» и других сибирских мучных изделий. Потом матушка показала нам новую, пахнущую свежим деревом русскую баню, которую топили в пятницу и субботу. Вечером у нас зажгли яркую керосиновую лампу — «молнию» и подали простой и вкусный обед с сибирским национальным блюдом — пельменями.

Я нашел свободную полку в шкафу с духовными книгами и сложил там мои журналы. Отец и мать весь вечер говорили об

Урале и Сибири, отмечая в первых впечатлениях иной склад ума сибиряков, их моральное и физическое здоровье, честность и доброжелательность. Удивительно было, что здесь никто не упоминал о войне. Впрочем, отсюда до фронта было 3000 верст, а авиации, сокращавшей расстояния, еще не существовало.

В воскресенье мы пошли к обедне, после обеда гуляли на главной улице, где в этот час можно было видеть все камышовское общество и в том числе много румяных гимназисток с большими бантами в толстых и длинных косах. Кстати, надо было подумать о моем поступлении в здешнюю гимназию.

В понедельник нас принял начальник полицейского участка, предложил чай и папиросы и быстро оформил документы. Он же сообщил, что здешнее общество радо приезжим из столиц, говорил, что город любит культуру, к несчастью, в наличии, кроме библиотеки при гимназии, ничего нет. Только в местном клубе любители организуют спектакли и концерты своими силами. Главный любитель — мукомол и миллионер Щербаков известен своим гостеприимством. Мы не находимся под контролем, но пристав просит нас не уезжать дальше, чем за 100 верст от города. В Екатеринбурге открылся германо-австрийский комитет по защите интересов сосланных. Летом он рекомендует Курьинские или Обуховские минеральные воды невдалеке от Камышлова. Затем он спросил о проектах молодого человека, т.е. меня. Мама отвечала, что хотела бы определить меня в гимназию. Он дал нам адрес директора и пожелал счастливо оставаться.

Этот маленький город, как весь Урал и Сибирь, явно процветает. Война обогащает край, поставки на армию рожают новых миллионеров. Наш квартал самый приятный в городе, в двух шагах от реки Пышмы, следовательно, от катка.

Мы являемся к директору, низенькому, радушному человеку. Предупрежденный приставом, он встречает нас с распро-

стертыми объятиями. Мое принятие устроено в несколько минут. Через две недели я сдам экзамены у каждого из преподавателей отдельно, а пока меня подготовит Брагин, первый ученик старшего класса. Я прохожу экзамены с отметкой 4 из 5 и принят в первый класс. Гордый моей новенькой фуражкой с гербом я иду каждый день в гимназию. Учусь я целеустремленно, что меня сейчас интересует — это космография, понятие о которой приобретено из книг. Конечно, я первым долгом записался в библиотеку, где нашел сочинения Луи де Буссенара и его «Похождения Фрике, парижского гамена».

Директор познакомил нас со своей супругой, особой еще молодой, жизнерадостной и энергичной. Она была в восторге встретить столичных театралов и выразила надежду вовлечь моих родителей в созданный ею драматический кружок. На прощание мы получили приглашение на предстоящий спектакль и товарищеский ужин. Так как пьеса была веселой комедией, меня взяли с собой, что мне доставило большое удовольствие. После представления родители отвезли меня домой и уложили спать, а сами поехали ужинать. Засыпая, я думал о них и был рад, что они неожиданно нашли жизнь сходную с киевской и могли хоть временно забыть о своем полном разорении.

После короткой осени наступила сибирская зима. Однажды утром я проснулся от какого-то особенного света в комнате. За окном виднелся голубовато-белый, как сахар, снег, наружный термометр показывал минус 12°. Река замерзала, и вскоре я мог ходить на каток и бегать там под звуки духового оркестра, игравшего по воскресеньям. Из-за сухого воздуха и полного отсутствия ветра мороз не чувствовался, тем не менее рекомендовалось время от времени энергично тереть шерстяной рукавицей нос и уши. При минус 20° гимназия была закрыта.

Только одной ночью температура упала до минус 41°, утром находили на улице много мертвых ворон.

Главной мечтой жены директора была постановка оперетты Оффенбаха «Прекрасная Елена». Обладая небольшим сопрано и приятной внешностью, она могла бы блистать в главной роли. Директору была предназначена роль царя Менелая, один молодой адвокат мог спеть партию Париса.

Мой отец, видевший эту оперетту в Берлине в постановке Макса Рейнгардта, предложил скопировать декорации второго акта — спальню Елены с гигантской кроватью, занимавшей всю сцену. Предложение было принято с энтузиазмом, и отца просили быть режиссером. Репетиции, чай и ужины продолжались до весны.

Я ходил в гимназию, учебе было нетрудным, уроки дома не отнимали много времени, позволяя мне много читать. Немец Руди был лучше остальных, но и с ним мне было скучно, я слишком много и долго жил в среде взрослых и привык к их проблемам и интересам, дети моего возраста мне были чужды.

Из знакомых моих родителей я помню одну немецкую чету, которую много позже мы встречали в Берлине. Две семьи из Петербурга называли себя баронами, на самом деле обе торговали чемоданами на Невском.

Во время одного из ужинов отец и мать познакомились со Щербаковым и его женой, имевшей репутацию самой красивой женщины Урала. Щербаков сказал отцу, что желал бы поговорить с ним наедине и пригласил его на утренний завтрак. Получив согласие отца, он сообщил, что лошади будут поданы в 8 часов утра.

В воскресенье утром отец меня разбудил, чтобы взять с собой, что меня очень обрадовало. В 8 часов появился солидный кучер, сняв шапку и перекрестившись, он почтительно доло-

жил, что лошади барина Виктора Григорьевича поданы. Выйдя на ледяной утренний воздух, мы увидели черные лакированные сани и пару вороных красавцев под лимонно-желтой сеткой для защиты пассажиров от снега, летящего из-под конских копыт. Кучер в толстом зипуне с часами сзади на поясе помог нам сесть, укрыл медвежьей полостью, и мы полетели, прячась от ветра за широкой кучерской спиной.

Щербаковы жили за городом невдалеке от своих мельниц в большом, массивном особняке в глубине сада. Внутреннее устройство было богатым, солидным и комфортабельным. В просторном кабинете, служившем хозяину личной гостиной, бюро и библиотекой, отсутствие картин на стенах возмещалось великолепными персидскими коврами и витринами с коллекцией уральских камней. Щербаков вошел, пожал нам руки и велел подавать. Лакей в форме и белых перчатках вкатил стол с небольшим самоваром, серебряными приборами, калачами и ведерком с зернистой икрой. Одна курьезная деталь не укрылась от моих глаз: наш хозяин пил чай не из самовара, а из отдельного чайника. Его чай казался холодным. Впрочем, меня больше интересовали калачи с маслом и зернистой икрой.

Внешность Щербакова меня поразила. Это был высокого роста, крепко сложенный мужчина лет сорока. Он отличался, как я узнал позже, поразительным сходством с великим германским актером Рудольфом Клейн-Рогге, создавшим бессмертный образ доктора Мабузе в киношедевре Фрица Ланга. Массивная голова Щербакова была воплощением силы, как и большие, пронзительные серые глаза и волевой подбородок. Он был одет в элегантную домашнюю куртку цвета кофе с молоком с черными шелковыми брандербургами и отворотами. Среди его темных волос седая прядь падала на широкий лоб.

После чая мне разрешили осмотреть коллекции и перелистать журналы по искусству, в большом количестве лежав-

шие на столе. Я переходил от одной витрины к другой, читая надписи и любясь чудесными шлифованными крупными бледно-зелеными топазами, золотистыми бериллами, прозрачно-голубыми аквамаринами, светло-красными турмалинами и авантюрином с золотыми блестками. Над пылающим камином можно было видеть много изделий из малахита. Журналы «Мир искусства», «Золотое руно», «Аполлон», «Столица и усадьба» овладели моим вниманием.

Прощаясь, я, как полагалось, пожимая протянутую руку, шаркнул ножкой, шелкнул каблуками, наклонив голову. Мы вернулись ошарашенные, но веселые. Отец позвал кучера на кухню, мать поднесла ему полный стакан водки с ломтем хлеба и солью. Влас вытер заиндевевшую бороду рукавицей, перекрестился на образа и залпом выпил водку.

Из разговора родителей я понял, что Щербаков желает поставить знаменитую пьесу Сухова-Кобылина «Свадьба Кречинского», где роль героя как будто написана для него. Отец сказал, что Щербаков может играть Кречинского без грима. Он предложил папе поставить спектакль и, зная его обстоятельства, обещал щедрый гонорар. Это было как нельзя кстати: не смотря на дешевизну, деньги уходили, а конца войны не было видно. В последние дни население с ужасом читало газеты: военная цензура, выбрасывая из газет целые столбцы, не могла скрыть катастрофы при Танненберге, гибели девяностотысячной русской армии в Мазурских болотах и самоубийства командующего генерала Самсонова.

Пьеса Сухова-Кобылина была первой частью трилогии и представляла взлет и падение светского авантюриста на фоне беспощадной картины русского общества второй половины 19 столетия.

Таинственный чайник продолжал меня интриговать, но я не смел задавать вопросов. Отец в разговоре с мамой выдал секрет: в чайнике был коньяк!

Несколько дней спустя Лидия, жена Щербакова, пригласила маму пить чай и, кстати, привезти с собой мальчика. Как в прошлый раз, Влас приехал за нами. Сани были Лидии — двое серых в яблоках рысаков под голубой сеткой. Было холодно, мама, неузнаваемая под вуалью, закрывала наши лица муфтой. Нас ввели в апартаменты Лидии, в большой будуар со светлой мебелью. Красавица меня расцеловала и стала кормить тортом, пирожными, заставляя жалеть о калачах с икрой. Затем мы перешли в гардеробную, похожую на музей тряпок. Платья, блузки, юбки, манто, шубы, белье, одуряющий запах духов. В шкафах с обувью дюжины пар туфель совершенно одинаковых, но всех цветов и оттенков, ящик полный золотых пряжек для туфель, с бриллиантами, жемчугами. Были пряжки с часиками. «Но почему их двое?» — спросил я. «На случай, если одни станут», — ответила Лидия.

Я смотрел, не веря вполне своим глазам: передо мной было чудо красоты. Высокая, идеально сложенная, с головой богини и глубокими синими глазами, с сатиновой кожей, Лидия была абсолютным совершенством.

Уезжая, мы увезли ворох конфет, полученных в подарок. С тех пор я их не ем.

Из разговора родителей я узнал, что Лидия и ее сестра, тоже красивая, были простыми крестьянками и научились читать только в 18 лет. Работая прачками, они стирали белье в реке, когда коляска Щербакова проезжала мимо. Увидев Лидию, он остановил кучера и вышел. Спросив, чья она дочь и получив ответ, посадил девушек в экипаж и поехал в село прямо к отцу. Сказав, кто он, добавил, что желает жениться на Лидии. Отец обомлел. Вызвали попа и назначили свадьбу через несколько дней. Об-



венчавшись, Щербаков приставил к Лидии учительниц грамоты и манер. Она оказалась очень способной, через год стала бабыней и начала принимать весь уезд. У нее не было врагов и завистниц, всех обезоруживала ее красота, добросердечие и щедрость. Это был счастливый брак, на котором лежала лишь одна тень: Лидия не могла иметь детей. Лучшие екатеринбургские врачи посылали ее в Bad Pygmont, когда грянула война.

Постепенно я узнавал этот городок, в котором не было решительно ничего интересного. После обеда в воскресенье совершался обычный променад по главной улице — поклонны, приветствия, улыбки, разговоры и провинциальные манеры. Магазинов не было, в лавках торговали мылом и кирпичным чаем — прессованной в виде кирпичей чайной трухой. Приезжие чукчи и монголы варили «чай» с бараньим салом. Это был их любимый напиток.

Цены на съестные продукты были невообразимо низкие, гуси, цыплята, поросята продавались парами, полтинник каждая. Сибиряки ели много, особенно зимой, и не толстели, в морозы пили водку и не пьянели. Дома все делали брагу, чудесный напиток из изюма и дрожжей. Моя мать отлично умела ее делать, и я жалею об утрате рецепта.

В центре города была каланча, на которой день и ночь ходил сторож. За этим строго следили, пожар в деревянном городе был бы непоправимым бедствием.

На городской площади муштровали рекрутов, почти все они были монголами и не имели понятия о том, где «право», где «лево». Я видел сам, как они шли под команду «сено»-«солома»: «сено-солома, ать-два». На рукавах действительно были привязаны сено и солома.

Всю ночь сторож ходит по городу, бьет в колотушку и что-то выкрикивает.

Репетиции «Свадьбы Кречинского» подходили к концу. Как-то мы с папой были у Виктора Григорьевича, они обсуждали сцену финала. Герой играет у себя на бильярде, нетерпеливо ожидая свою богатую невесту. Звонок. Вместо невесты входят жандармы. Кречинский у рампы хрипит: «Сорвалось!» и в бешенстве ломает кий. Занавес.

Обыкновенно кий, или палка, сделанная в виде кия, надпиливается, чтобы актер мог его сломать без напряжения. Отец хотел использовать этот обычный театральный прием, на что Щербаков ничего не ответил, но попросил следовать за ним. Мы спустились в подвальный этаж и вошли в бильярдную, где Щербаков попросил отца выбрать кий. Взяв в руки, он без усилия сломал его. Больше отец не настаивал на своем предложении.

Спектакль состоялся и прошел, по актерскому выражению, «без сучка и задоринки». Ужином был отмечен триумф Щербакова — героя дня. На радостях он сделал отцу царский подарок.

Приближается Рождество, город занят приготовлениями к праздникам. О войне думают, как о событии, мало касающемся Сибири и Урала, мест, отдаленных и отчужденных от России. Позднее я понял, что здоровые сибиряки, не знавшие крепостного права, бывшие пионерами в этой богатой и независимой стороне с суровым и здоровым климатом, относились к России, стране войн и революций, с некоторым пренебрежением.

На праздники родители, часто приглашенные, иногда брали меня с собой на дневные пиры. Я заметил, как здесь готовят поросят: голову и переднюю часть варят и подают холодными, в желе с соусом из хрена. Заднюю часть, фаршированную рублеными потрохами с гречневой кашей, жарят в духовке и подают румяную и хрустящую.

В начале холодов матушка стала приглашать соседок и других знакомых готовить пельмени. Один раз я присутствовал

при этом традиционном обычае. Вокруг горы рубленого мяса на большом столе сидят приглашенные. Раскатив валиком тесто, стаканом вырезают кружки, вкладывают щепоть мяса и залепляют края. Известно, что происходит это блюдо из Китая, откуда его вывез Марко Поло. По пути в Венецию кто-то воспользовался рецептом, и с тех пор сибиряки едят их обычно каждый день в течение всей зимы. Пельменями наполняют «тудовички» — мешки из-под муки, и вывешивают за окна. Мороз сохраняет их три месяца, едят их в горячем бульоне или в горчичном соусе.

В гимназии стоит большая елка. На концерте гимназисты и гимназистки читают стихи, поют или танцуют. Первая ученица, хорошенькая и, видимо, знающая себе цену, холеная барышня в белой пелеринке и фартучке, декламирует стихи: «...вот паяц поскользнулся, лежит распростертый, стыннут искры в стеклянных глазах, поднялся, завертелся, раскрашенный, мертвый, в бубенцах, бубенцах, бубенцах, бубенцах...»

Сын местных богачей Второвых, студент, побывал в Москве, где слышал новую знаменитость — Вертинского. Выступая на любительском концерте, Второв его имитировал, одетый в балахон Пьеро, со смертельно-бледным гримом. Пел, очень удачно подражая, в чем я убедился, хорошо зная Вертинского в Берлине в 1935 году и бывая на его выступлениях.

В марте 1915 года состоялось представление «Прекрасной Елены». Я, конечно, не мог его видеть, но знал о полном успехе спектакля. Главным последствием явилось предложение, сделанное отцу администрацией Курьинских минеральных вод, быть организатором артистического сезона в течение трех месяцев с окладом, квартирой и полным пансионом для него и семьи. Отец ответил согласием. Я за него почувствовал себя счастливым.

На Пасху Щербаковы принимали всю городскую элиту. Влас приехал за нами, одетый в новый синий армяк, белые перчатки и шапочку с павлиньими перьями.

Как я уже писал, моим очередным увлечением была космография. Так как родители не могли подарить мне телескоп, я соорудил из картона большой конус, на широкую часть которого мне удалось натянуть белые нитки в виде сетки. Вечером я наблюдал звезды, отмечая их положение, и записывал в тетрадь с нарисованной соответствующей сеткой. Одно из созвездий было Орион. У мамы было кольцо из бриллиантов, изображавшее это созвездие, сегодня оно принадлежит моей дочери Марине.

Затем космография уступила место экспериментальной химии, которой я занялся с намерением изготовить порох. Соседи мне сделали подарок в виде старых охотничьих гильз 12 калибра французского завода Жевло. Это имя почему-то стало моей навязчивой идеей. Не было ли это предчувствием моей женитьбы на внучатой племяннице Жюля Жевло, владельца мануфактуры «Исси-ле-Мулино»?

Сделав смесь селитры, серы и угля, я готовился к взрыву, что вызвало панику, всеобщее возмущение и разрушение моей лаборатории родителями. Смирясь, я начал собирать почтовые марки.

Раннее лето и прекрасная погода позволяли совершать поездки, и мы с удовольствием приняли приглашение Щербаковых посетить Обуховские минеральные воды. Бархатная дорога шла по просеке в дремучем лесу. Щербаковские рысаки нас быстро домчали до Вод, состоявших из десятка дач, харчевни и курзала — все, выстроенное из дерева посреди парка вокруг маленького озера. Перед началом концерта я, обходя курзал, вошел в бильярдную. Несколько человек наблюдали игру. Один из игроков, лет тридцати, был недурен собой, в светлом жилете

и панталонах, с большим бриллиантом на мизинце. Уже по манере класть руку на сукно и держать кий угадывался мастер своего дела.

Концерт начал студент декламацией стихов Сюлли-Прюдома в русском переводе. За ним последовал танцор чечетки во фраке, белых носках и лакированных туфлях, его сменил полнотелый тенор, спевший «Тишину» и другие популярные романсы. Под конец коронным номером выступила молодая и очень привлекательная певица, исполняя под гитару салонные цыганские романсы, целиком завладевшие вниманием публики.

После концерта мы ужинали на веранде, отец рассказывал об артистах, провинциальных гастролерах, о мире, который он знал и любил. Щербаков внимательно его слушал.

Пока я вкушал в первый раз почки в мадере, группа людей рассаживалась за столом в другом конце террасы. Это были молодая певица, элегантный игрок с бильярдом и другие. Щербаков, заметив их, улыбнулся. Он и его жена, понизив голос, рассказали историю этих людей.

Чемпион с бриллиантом был родным братом певицы. Пользуясь сестрой как приманкой, он благодаря ее шарму находил богатых партнеров для игры на бильярде, и эти партии он намеренно проигрывал. После ужинов с обильными возлияниями и колдовскими песнями сестры начинались серьезные занятия: в картах брат выказывал свой главный талант — шулера. Больше двух лет эта пара «гастролировала» между Екатеринбургом и Харбином, оперируя в главных городах и на борту транссибирского экспресса. Самое любопытное в этой истории — полная безнаказанность мошенников, за все время не было ни одного скандала, ни одной жалобы. Став взрослым, я узнал обаяние, исходившее от опасных людей.

В конце мая лошади Щербакова нас отвезли в Курьи, где были приготовлены две комнаты при курзале.

По приезде родители стали встречаться с разными лицами в связи с работой отца, и я был предоставлен сам себе. Мое обследование началось с курзала, похожего на Обуховский, но гораздо просторней. Все было выстроено с размахом: бальный зал с настоящей театральной сценой, салоны, бильярдная, библиотека-читальня, ресторан и две веранды. Одна выходила в сад с пышными клумбами и фонтаном, на ней завтракали, обедали и поздно ужинали в теплые сибирские ночи, другая веранда открывалась на теннисную площадку, на ней пили чай после обеда, наблюдая игру. Сад перед курзалом переходил в лес. Я шел по аллее к лужайке, иногда рыжая белка с пышным хвостом перебежала дорожку, стрелой взлетала на сосну и замирала, держась растопыренными лапками за кору и следя за мной блестящими черными глазками. Выйдя на простор, я оказывался на высоком скалистом берегу Пышмы, текущей глубоко внизу. Я стоял очарованный дикой красотой. Вдоль лесистой дороги, спускавшейся к селу, стояли дачи, некоторые собственные, другие сдавались екатеринбуржцам. Все было пустынно, сезон начинался через несколько дней.

Публика съезжалась. Отец скоро и легко познакомился с новыми для нас людьми, меня постоянно представляли кому-то, я шаркал ножкой и целовал дамам руку, что принималось как должное.

На теннисе я также завел знакомства. Молодые люди и подростки, все старше меня, были дети обрусевших англичан, их звали Ятес и Трувеллер. Затем были купеческие дети Ядрышниковы с хорошенькой сестрой, отлично игравшей в теннис. Я лучше знал братьев Лаппо-Старженецких, старшего Николая, научившего меня играть в шахматы, и младшего Георгия, «Гогу», который со мной играл.

С первого числа начался большой съезд. Отец и мать открыли сезон двумя водевилями, переведенными с французского,

«Разбитое зеркало» и «Из-за мышонка». После спектакля они смешались с толпой гостей, меня представляли многим, в том числе г-же Шикетанц, приехавшей из Нижнего Тагила, где она живет со своим сосланным австрийским мужем. Сама она русская, из знаменитой цыганской семьи Шишкиных. Во время ужина я наблюдал эту жгучую брюнетку, чудесно одетую и причесанную, в платье из крепдешина цвета осенних листьев. Большие бриллианты сверкали в ее ушах и на красивой руке. На следующий день она познакомила нас со своей восьмилетней дочкой Лили, такой же красивой, как мать, но тоньше и романтичней. Помню ее прелестное платьице, плиссированное из бледно-лимонного крепдешина. Этот ребенок явно сознавал свою красоту, что было видно по ее манерам, сдержанным и уверенным.

Если я увлекаюсь женской внешностью, надо принять во внимание, что я рос в эпоху обожествления женской красоты. Культ уродства, созданный жизнью и искусством и освободивший человечество от комплекса малоценности, тогда еще не существовал.

Шикетанц познакомила нас с курьезной личностью. Инженер Серебряков был пятидесятилетний холостяк с седыми волосами и усами. Не занимаясь своей профессией, он довольствовался владеть акциями серебряных рудников, позволявшими ему удовлетворять свою единственную страсть: в Париже и Ривьере до войны он проводил шесть месяцев в году. Он знал наизусть все французские шансонетки и даже пел их своим фальцетом, подражая Майолю, Иветт Гильбер и Полэр. Он, конечно, участвовал во всех благотворительных концертах. Живя монахом после разочарования, постигшего его на Монмартре, и не скрывая этого, он с юмором обо всем рассказывал, в добавление напевая: «Шестьсот шесть, шестьсот шесть, нам спасет и жизнь и честь».

Серебряков познакомил нас с одним из самых важных и богатых людей края. Владелец приисков Н.Н.Ипатьев имел в Екатеринбурге особняк, которому было суждено войти в историю, и дачу в Курьях. Однажды на прогулке в парке мы встретили Ипатьевых, по этому поводу я хочу сказать несколько слов. Ипатьев был великаном с окладистой бородой и походил на государя Александра Третьего. Одетый в легкую визитку и панаму, он держал левую руку прижатой к груди. Его жена, почти вдвое меньше своего супруга, была очень живой и любезной дамочкой, бросавшей на мужа озабоченные взгляды. Выхватив из под его жилета термометр и взглянув на него, она вскричала: «36 и 9! Это почти лихорадка, вечером мы сидим дома!» Ипатьев, вздыхая, гладил бороду.

Сегодня суббота, после ужина солидные люди направляют в библиотеку, где для них уже приготовлены столы для преферанса, публика помоложе уже в зале, где начинаются танцы. Шикетанц становится царицей бала, ее кавалер — студент Трувеллер, лучший танцор на Урале, в брюках, приводящих в уныние других молодых людей. Танцуют вальс и модные тогда танцы падеспань и падекатр. Полька и мазурка забыты, танго считается неприличным.

Организуется пикник вверх по течению Пышмы. Лодки с гребцами везут приглашенных взрослых, а кроме них двух девочек лет 15-ти, которые смотрят на меня, как на ребенка. Берега становятся ниже и лесистей, мы причаливаем к красивой полянке в тени, на траве расстилают ковры и скатерти, несут корзины и бутылки. Дамы в больших шляпах расправляют свои юбки. Серебряков в обычной роли «души общества» острит, смешит, нарушая паузы, и с удовольствием развлекает компанию.

После десерта все просят Серебрякова спеть шансонетку, последнюю моду Мулен-Ружа. Поднявшись в своей визитке и теннисных туфлях, он спрашивает, желает ли публика слушать



по-французски или по-русски. «По-французски» просят дамы. Я замечаю, что две девочки переглядываются. Серебряков начинает петь под аккомпанемент мандолины студента. Куплеты с припевом вызывают аплодисменты и крики «бис!» Серебряков с хитрой улыбкой спрашивает, должен ли он бисировать по-русски? «Нет, нет!» — кричат дамы. Девицы, улыбаясь, перешептываются. Слушая в Париже пластинку с этой шансонеткой, я понял, что дамы хотели уберечь девственные уши девочек, не подозревая, что те знали слова шансонетки наизусть.

После прогулки в лесу и сбора земляники все возвращаются пить чай.

Сезон подходит к концу. Ипатьевы собираются в Екатеринбург. Мы обедаем вместе, отец спрашивает о сестре жены Ипатьева, танцовщице императорского балета Екатерине Васильевне Гельцер. Семь лет спустя она станет примой-балериной московского Большого театра, позднее отец представит меня ей на прогулке по Унтер-ден-Линден в Берлине.

Ипатьевы проектируют детский праздник в их доме, в Екатеринбурге, на который я, разумеется, приглашен. Щербаковы предупреждают о своем приезде и предлагают на обратном пути отвезти нас в Камышлов. После прощального ужина мы покидаем Курьи с возобновленным контрактом на будущий год.

Несмотря на наши удачные каникулы в Курьях, я был рад снова увидеть наш городок, гимназию, библиотеку, мою лекцию марок — все, что давало мне возможность чувствовать себя дома.

Ежедневно Влас приезжал за моим отцом для работы со Щербаковым над ролью Кречинского.

После десятка репетиций спектакль состоялся 3 декабря 1915 года, в день моего рождения. В этот раз я сидел в зале между мамой и Лидией. Отец оставался за кулисами, на сцене я узнал нашего

директора гимназии и его жену, а также хорошенькую гимназистку, читавшую на концерте декадентские стихи. Заслуженный успех увенчал представление, после которого холодный буфет и шампанское были предложены всем участникам.

На Рождество роскошная елка у Щербаковых собрала всю городскую аристократию. Я получил много прекрасных книг, мама флакон «Режан де Франс», а отец конверт с двумя билетами в 500 рублей.

1916. Скоро начнется самая кровавая битва войны под Верденом, чтобы окончиться в декабре вничью.

Не совсем понимая значение всех событий, я инстинктивно чувствую перемену в окружающем настроении и нарастание известного пессимизма.

На Пасху мы съездили в Екатеринбург. У отца были дела в Германском комитете, который также занимался и австрийскими делами, а мы с мамой отправились к Ипатьевым на детский праздник. Большой особняк на окраине города стоял на обрыве и был курьезно выстроен в один этаж на улицу и в два со стороны ступенчатого сада. Внутри я запомнил большой зал с огромным столом, заваленным пирожными, тортами, пирожками, конфетами, фруктами. За этим столом орава детишек кричала, плакала, объедалась сладостями. Я был благодарен маме, сократившей пребывание здесь до необходимого минимума. Мне хотелось побыть в этом большом городе, с высокими новыми домами, великолепными магазинами, витринами с сотнями вещей, привлекавших мое внимание. Я был в восторге от отеля, лифта, ванной комнаты, телефона, электрического освещения, от комфорта и культуры во всем окружающем. В Екатеринбурге родились мое желание узнать Европу и моя тяга на Запад.

Вечером мы были в кинематографе и видели Веру Холодную, бывшую идиолом русской публики. Эта молодая актриса,

помимо своей красоты, обладала эмоциональной силой, рядом с которой все остальные казались холодными, неискренними. В 1919 году она скончалась в Одессе от «испанки» — злокачественного гриппа.

Как и в прошлом году, с начала сезона мы были в Курьях. Начинания отца наталкиваются на некоторые затруднения, многие из любителей отменили свой приезд, общее настроение предписывало более серьезный репертуар. К счастью, Шикетанц согласилась выступить в постановке последнего акта нашумевшей пьесы Ге «Казнь». Действие происходит в артистической уборной после спектакля. Знаменитая актриса в беседе с другим актером рассказывает о своей трагической жизни. Актер, по пьесе баск Годда, в красном с золотом костюме матадора, выслушав ее исповедь, произносит: «Ведь это казнь!» Отец по внешности очень подходил к этой роли, Шикетанц была ослепительна и вызвала овации. В заключение сыграли водевиль Чехова «Предложение».

Через несколько дней мы распрощались с красивой артисткой, я, шаркнув ножкой, поцеловал ее душистую руку. Лили в бледно-голубом платье серьезно на меня посмотрела своими темно-бархатными глазами и протянула ручку. Я до сих пор помню это прикосновение. Лили, где ты?

Даже в таком захолустье, как Камышлов — где-то в конце железнодорожной ветки, атмосфера продолжает сгущаться, о войне начинают говорить, пожимая плечами. Ползут слухи, никто не может понять, что происходит — влияние Распутина на царицу, болезнь цесаревича, бессилие и безволие правительства, чехарда министров, постоянно сменяемых, истеричная биржа, полное моральное разложение высших слоев общества и глухое недовольство, растущее в народе. Действующая армия непопулярна, а для фронтовых солдат в грязи окопов, как шеп-

чут, враг не немец, а собственный офицер. Солдаты знают, что у них больше шансов умереть от тифа, чем от пули.

Смерть австрийского императора Франца-Иосифа меня искренне тронула. Я знал, что был его подданным, мне был знаком его профиль на красивых австрийских почтовых марках и на ордене отца, он был мне ближе просто монарха, отец никогда не называл его иначе, чем император, и говорил о нем со сдержанным почитанием, в чем я ему следовал.

Позже мы узнали о его конце. Больной, в возрасте 86 лет, с температурой в 40 градусов, одетый как всегда в форму полковника, он сидел за письменным столом и давал аудиенции. Ему доложили об эрцгерцогине Ците, он поднялся, никогда не сидя в присутствии дамы. Этот момент стал заключением его жизни и самого долгого, самого трагического и самого достойного царствования в истории.

Мы еще не знали, что милосердная судьба избавила монарха быть свидетелем падения его семисотлетней империи.

Я узнаю о смерти Джека Лондона, наиболее читаемого в России американского автора. Я любил его книги, несмотря на какое-то щемящее чувство, испытываемое мною от его рассказов о вольной жизни, полной приключений. Бродяга, скитавшийся между островами Тихого океана и льдами Аляски, он был побежден своим демоном — алкоголем.

В конце 1916 года русские люди оцепенели, узнав об убийстве Распутина. Даже его враги задумывались, не попали ли убившие его пули в самодержцев?

После второй мировой войны в Париже я однажды спросил Юсупова, не был ли его поступок первым выстрелом революции?

«Все смешалось в доме Облонских...» — так начинается роман Толстого «Анна Каренина». Это же можно сказать о положении вещей в России в начале 1917 года. Забастовки, манифестации, все другие предвестники революции начинаются в Петрограде. Правительство, окончательно потеряв голову, шлет двух депутатов Думы в Ставку на фронт, где Николай Второй покорно отказывается от престола. Шесть дней спустя, 21 марта, он, уже просто полковник Романов, арестован.

В Камышловле отцы города почему-то решают отозваться на события, организовав крестный ход с попами, иконами и хоругвями. Молодежь гуляет с красными бантами в петлицах, поздравляя друг друга. Самое важное событие, решившее исход войны, вступление в военные действия Америки проходит незамеченным. О судьбе полковника никто не говорит, и все надеются, что демократическая, либеральная капиталистическая республика, по образцу Франции, будет провозглашена в России.

Февральская революция дает себя чувствовать, увеличивается интерес к политике, молодежь собирается спорить и читать стихи Беранже. Взрослые говорят: «перемелется — мука будет» и играют в преферанс. Щербаков серьезно озабочен, у него возникают затруднения со служащими и рабочими.

Я замечаю, что новое положение вещей сказывается на жизни моих родителей. Существование двух последних лет, заполненное деятельностью, проектами, обнадеживающими успехами и материальными удачами, разваливается, как карточный домик. Я вижу родителей, лишенных занятий, и испытываю шемящее сочувствие. Я понимаю, что их жизнь в эти сибирские годы была только временной иллюзией, помогавшей им забыть реальность, потерю всего — свободы, положения, денег. Теперь страна, в которую отец верил, на которую надеялся, рухнула в пропасть.

Я жил, скрывая свои болезненные переживания, снедаемый тайным беспокойством, смешанным с удивлением: меня восхищало состояние духа моих родителей, их способность чувствовать себя равными с богатыми людьми, их умение быть бедными, не унижаясь. С детства я был одержим идеей не выглядеть бедным, будучи им. Это может показаться абсурдным в наши дни, когда миллионеры и знаменитости ходят небритые и в грязных лохмотьях. В первый раз в истории мира снобизм стоит на голове.

Николай Второй и царская семья перевезены в Тюмень, отсюда, водой в Тобольск, куда они прибывают 19 августа и живут в полной изоляции с внешним миром. Февральская революция в тупике. На севере рабочие и моряки бунтуют, Временное правительство перестает существовать, и его члены спасаются бегством. В октябре власть захвачена Лениным, ранее приехавшим в опломбированном вагоне из Швейцарии. 15 декабря он шлет полномочных представителей подписать сепаратный мир с Германией. Монументальные германские офицеры в касках и коже с презрением смотрят на русских тщедушных делегатов в пенсне и калошах. «Похабный мир», предающий союзников, подписывают 3 марта 1918 года.

Новое русское правительство переезжает в Москву, Кремль становится символом новой власти. Но жизнь разваливается: голод, разруха транспорта, бандитизм, покушения и черный рынок с отчаянной спекуляцией. Все это побуждает Ленина объявить «красный террор» и учредить Всероссийскую чрезвычайную комиссию («Чека»), работающую день и ночь, преследуя контрреволюционеров и спекулянтов. Была только одна форма наказания — «высшая мера социальной защиты», что означает пулю в затылок сейчас же после приговора революционного трибунала.

В начале 1918 года в нескольких пунктах России возникает гражданская война. В Камышлове говорят о Белой Армии,

сформированной в Сибири одним из царских генералов, и чешских батальонах, наступающих в западном направлении, в сторону Урала, и, по слухам, угрожающих Тобольску. События развиваются. 29 апреля Ипатьевы выселены из их дома, в котором на следующий день помещена царская семья. От зари до темноты вокруг дома строят высокий палисад из цельных бревен. День и ночь поместье охраняется вооруженным караулом.

Что кажется странным, это безразличие населения к судьбе бывшего царя, вчера еще всемогущего самодержца всей России. Дом Ипатьева и его новые обитатели не вызывают даже любопытства, все предпочитают молчать. В церкви молитва за батюшку-царя, бывшая неотъемлемой частью православной службы, больше не читается. Царь забыт и Богом, и людьми.

Возвращаясь к прошлому, надо признать, что отношение народа к царю было не более чем чинопочитанием. В последнее время многие открыто критиковали царицу, двор и Распутина и, вздыхая и разводя руками, жалели царя. Может быть, у умного мужика и провидца Распутина и был план заменить слабого царя властным, решительным Великим князем Николаем Николаевичем. Для переговоров с ним Распутин, вероятно, и желал приехать на Кавказ, где находился сосланный туда Великий князь. Увы, последний, узнав о намерении Распутина, велел послать ему историческую телеграмму: «Приедешь — повешу».

Жаль, с Николаем Николаевичем во главе России история, может быть, пошла бы по другим рельсам.

Во время школьных каникул я не знаю, что делать, чем себя занять. Я не могу даже читать, мысли бродят, я ищу ответа на возникшие вопросы, но не решаюсь поделиться с родителями. Моим тревогам нет выхода, они меня преследуют и во сне. В одну ночь у меня была галлюцинация, четкая как фильм на экране. Я видел себя в полутемной комнате, около меня находи-

лась кровать с покрывалом из кружев. Постепенно кружева на-  
динают волноваться, как море в непогоду, все больше и больше,  
не нарушая жуткой тишины. Вдруг я чувствую, не глядя, что  
происходит что-то странное. Я поворачиваюсь и леденею от  
ужаса: большая черная балка медленно выходит из стены и дви-  
жется на меня. Я парализован, как кролик, перед удавом... Бал-  
ка гипнотизирует меня, одновременно я ощущаю колыханье  
кружев. Пароксизм кошмара заставляет меня проснуться, весь  
день я разбит и со страхом ожидаю ночи.

Я боюсь ночей и жду кошмара, который не повторится, жду  
напрасно и провожу бессонные ночи.

## IV

В начале июня 1918 года пристав предупреждает нас, что поло-  
жение обострится, и все иностранцы будут эвакуированы в  
центр России. Он просит нас быть наготове. Щербаков в горо-  
де, он искренне огорчен нашим предстоящим отъездом и делает  
по отношению к отцу царский жест, вручая ему порядочную  
сумму денег, которая нас выручит в течение долгого времени.  
Матушка на прощанье благословляет нас со слезами, от души  
сожалея о нашем отъезде. Нам также грустно покидать Сибирь,  
где мы узнали столько хорошего.

15 июля мы получаем пропуск на вокзал и билеты на следу-  
ющий день. Вечером мы идем пешком, за нами везут наши че-  
моданы, подушки и одеяла. На вокзале мы встречаем всю авст-  
ро-германскую колонию, в буфете пьют за конец нашего плена.  
Выйдя на перрон, мы, к нашему возмущению, видим поезд из  
красных товарных вагонов с надписью: «40 человек 8 лоша-  
дей». Проводник уверяет, что вагоны чистые и постелена све-



жая солома. В молчании мы влезаем в вагон и садимся на чемоданы. Я вспоминаю, что у Джека Лондона бродяги «трампы» ездили под вагоном. На этой мысли засыпаю. Наутро отец отодвигает дверь, рядом стоит такой же вагон другого эшелона. Мама, увидев знакомую даму, делает ей знак, та кричит каким-то свистящим шепотом, что царь и вся семья расстреляны в эту ночь в подвале дома Ипатьевых.

Наш поезд отходит после полудня, мужчины не бриты, дамы помяты, все чувствуют себя неловко. К счастью, остановки происходят часто, иногда на несколько часов. Каждый раз мы отправляемся с чайниками на станцию, где можно умыть лицо и руки и иногда купить газеты, и затем с кипятком, который всегда есть на всех русских вокзалах, возвращаемся в наш вагон пить чай. Еды у всех больше чем достаточно, все захватили огромное количество лепешек, шанежек, пирожков и ватрушек. Мы проводим ночь как можем, утром — тревога, запах горелого, в одном из углов тлеет пол. Мы подходим к большой станции, железнодорожники уже бегут, заметив пламя. Нас высаживают из вагона со всем багажом. Начальник станции объясняет, что из-за отсутствия смазки загорелась ось вагона. Нам дают людей для переноски багажа на вокзал. Остановка может быть длительной, надо отцепить наш вагон и найти свободный новый, что займет много времени. Мы находимся в городе Вятка. Мама чувствует себя нехорошо и просит остаться здесь. Отец устраивает нас и отправляется в город. Через час, вернувшись, рассказывает, что получил в полиции адрес врача, был у него, врач обещал посмотреть маму и, узнав что у нас еще нет пристанища, сообщил, что у его сиделки есть возможность нас устроить. Отец взял извозчика, нашел сиделку, и мы немедленно отправились по указанному ею адресу.

Извозчик останавливается перед красивым двухэтажным особняком на маленькой площади. Молодая и любезная девуш-

ка объясняет, что дом принадлежит ее родственнице, в настоящее время живущей в Петрограде, она же сторожит дом и для покрытия расходов сдает четыре комнаты, из коих две заняты г-жой Тейхман с дочерью из Петрограда. Доктор приезжает, осматривает маму, не находит ничего серьезного и пишет сертификат для полиции.

На следующий день маме лучше, и мы знакомимся с нашей соседкой и ее десятилетней дочкой Людмилой, которую она называет Гулей. Г-жа Тейхман говорит, что днем они едят в вегетарианском ресторане неподалеку, а вечером ужинают дома, готовит бонна из продуктов, которые ей удастся достать на рынке. Овощи, творог, молоко, каша, подсолнечное масло и яблоки — вот наше меню. Ни мяса, ни рыбы, ни ветчины в продаже нет. Муж соседки, инженер в Петрограде, пишет, что ничего, кроме пшенной крупы, селедок и яблок, в городе нет, выдают немного очень плохого хлеба.

Иногда мы едем с Гулей и ее мамой в вегетарианский ресторан, потом в городской сад. Я очень рад быть кавалером Гули, такой воспитанной и хорошенькой петроградской девочки с большими голубыми глазами и толстой светлой косой. Она одета в красный блейзер с золотыми пуговками, темно-синюю юбочку и лакированные туфельки с белыми носочками.

На главной улице, почти такой же цивилизованной, как в Екатеринбурге, много магазинов. Я долго стою перед витриной с фотоаппаратами, затем нахожу и записываюсь в городскую библиотеку.

Мы живем спокойно в этом просторном и приятном доме, в гостиной есть пианино, Наташа, наша хозяйка, играет вальсы Шопена, а мама вещи Чайковского. После ужина взрослые беседуют, а я с Гулей играю в монополию.

Лето жаркое и душное. Наташа нас предупреждает о появлении в области случаев холеры и о том, что в больницу прислали све-

жую сыворотку. На другой день мы все отправляемся делать прививку — первое вспрыскивание, другое будет через две недели.

Газета сообщает о занятии Екатеринбурга «белыми бандами».

Дни нашей мирной жизни в Вятке проходят незаметно, тем не менее отец и мама начинают подумывать о Москве. Этому причина гражданская война, которая все больше расширяется и может отрезать нас от Москвы, где у нас дядя и тетя. И главное, мама после долгой переписки, наконец, нашла своего старшего брата Дмитрия, вышедшего из больницы, в которой он провел больше шести месяцев из-за очень тяжелого челюстного ранения в последние дни войны.

Другое событие окончательно повлияло на решение уехать. Однажды вечером мы с мамой сидели на балконе и заметили группу людей в полувоенной одежде, ведущих босого, плохо одетого человека со связанными за спиной руками. На шее у него висели сапоги и картон с крупной надписью: «Я вор, я украл сапоги». Двое людей привязывают его к фонарному столбу, третий неразборчиво читает какую-то бумажку, двое других вынимают револьверы и в упор стреляют в человека с сапогами. Я смотрю на маму и ее побелевшее лицо, вижу, что ей дурно, вскакиваю и за руку тащу ее в комнату. Я в первый раз увидел смерть человека, меня поразила ее простота.

## V

В Москве дядя Альфред предлагает свое гостеприимство, но мама, не видевшая своего брата семь лет, хочет на первых порах остановиться у него на даче, в Люблино. Это все, что он мог найти в Москве, где революция и гражданская война вызвали невиданный приток беженцев и квартирный кризис.

Послав телеграмму дяде Диме и получив три места в спальном вагоне, мы прощаемся с Гулей и ее мамой и едем на вокзал в сопровождении Наташи.

В поезде нет освещения, кондуктор с безнадежным жестом сообщает, что все лампочки вывинчены пассажирами и вынимает из кармана свечу. Затем приносит нам кипяток для чая, который в России пьют днем и ночью, получает «на чай» и желает нам спокойной ночи.

Москва встречает проливным дождем. Мы вынимаем из чемодана калоши, без которых в России нельзя жить. Дядя Дима нас ждет на вокзале. Мама плачет, он очень похудел, со страшным шрамом от рта до уха, но прекрасно одет в штатский френч, галифе и высокие сапоги. На груди у него георгиевская ленточка и другая — ордена Св. Владимира с мечами. На двух извозчиках мы переезжаем на другой вокзал, в буфете нам дают только сухари и кипяток, мы завариваем наш чай.

Мы удручены видом московских улиц: грязь, ободранные дома, заколоченные лавки, люди в лохмотьях и нищие на каждом шагу.

Наконец мы садимся в дачный поезд и через полчаса выходим на станции Люблино. Нас ждет человек с тачкой, и мы отправляемся пешком. Под ногами слякоть и липкая грязь, мы идем осторожно, стараясь не потерять калошу.

Дача просторная, но производит странное впечатление. Всюду коврики, занавесочки, розовые абажуры, шелковые пуфы, кушетки, бахрама, кисточки и помпоны. Дядя в его полувойенной форме выглядит здесь чужим. Целые дни мама и дядя беседуют. Новости из Киева весьма неутешительные. Киевские родные, зная, что дядя на войне, а мама в ссылке, распорядились так, что маме после продажи ее доли имущества ничего не осталось. Дядя в отставке на пенсии, еще не стар и имеет какие-то виды на будущее. От него веет бодростью.

Папа съездил в Москву, побывал у сестры, которая нас ждет, как и две комнаты в домике с колоннами. Наконец, мы опять переезжаем, и я счастлив вернуться в Левшинский переулок.

Поезда переполнены «мешочниками», людьми, едущими за 50 и больше верст, чтобы, как теперь говорят, «достать» полпуда муки, кусок сала, мешок картошки в обмен (денег не берут) на штаны, часы или гитару. Передвижение в городе не лучше. Вагоны трамваев старые, грязные, с выбитыми окнами, обвешаны безбилетными пассажирами на подножках и буфере. Извозчиков мало, лошади с начала войны на одном сене, плетутся еле-еле. Извозчики жалуются и ругаются.

Первая забота отца — найти квартиру. Знакомый австрийский коммерсант, вернувшийся из сибирской ссылки, говорит о вдове одного обрусевшего немца, у которой можно снять две комнаты, так как она, живя вдвоем с сыном, боится «уплотнения», когда можно получить, Бог знает, кого по ордеру. Я еду с ним на Чистые пруды, и в Архангельском переулке мы находим фрау Зеегер, пожилую немку, несмотря на долгое пребывание в России, не говорящую ни слова по-русски. Она очень рада поговорить с отцом на родном языке, и две комнаты остаются за нами. Дом с палисадником и большим садом мне нравится, и от этого будет легче покинуть Левшинский переулок.

На складе отец находит нашу обстановку в целости и сохранности. Мы берем необходимое для двух комнат и продаем остальное.

Наш двухэтажный дом состоит из двух корпусов, в соседнем живет владелец, немец по фамилии Фридрих. В переулке против дома высится чудесная часовня в стиле рококо, построенная в 1700 году в честь архангела Гавриила владельцем всех окружающих земель, знаменитым фаворитом Петра Великого князем Меншиковым.

Наконец-то я у себя дома. Мы положили ковры, разместили мебель, стало уютно. Я буду спать на диване в столовой. Самая главная и серьезная забота — обеспечить себя отоплением на предстоящую зиму. Мы уже знаем, что на покупку дров рассчитывать нельзя, и, как все, покупаем «печурку» и трубы. Это маленькая печка из листового железа, дым из нее по подвешенным трубам выходит через вырезанное в окне отверстие. Она одна должна обогреть две комнаты, что при 15 или 20 градусах ниже нуля является проблемой. Главное — не умереть от холода.

Что касается питания, то имея местожительство, мы получаем в милиции, как переименовали полицию, продовольственные карточки, по которым, стоя в очереди, можно «получить» пшеничную крупу, селедки и яблоки. В аптеке продается сахарин, а в булочных «выдают» фунт хлеба с отрубями на неделю.

Я усиленно учу немецкий язык для поступления в школу Петра и Павла. Мечты о красивой форме Лазаревского института развеялись — институт закрыт. Пока меня определяют в бывшую женскую гимназию княгини Вяземской, превращенную декретом в трудовую школу для детей обоюбого пола. В классе моими приятелями были Кук из обрусевших англичан и Стрекалов из семьи орловских помещиков. Среди девочек — первая ученица Самсонова, полька Крушельницкая, а также Чистозвонова и Лерхе, все хорошенькие.

В нашем квартале, на Мясницкой, наискосок от телеграфа я нахожу Тургеневскую библиотеку-читальню, открытую до 10 часов вечера, где буду пропадать почти ежедневно.

Помимо дяди Димы, мы часто видим дядю Альфреда. У его семьи, конечно, те же проблемы, что и у всех. Сам он очень занят скупкой «битой» пленки, т.е. старых фильмов в негодном состоянии. Дело в том, что, несмотря на товарный голод, киноиндустрия и в своем тяжелом положении продолжает еще ставить какие-то картины, для съемок которых необходима плен-

ка. Ввиду полной невозможности получить ее из-за границы, нужно наладить производство у себя, для чего необходимо серебро, а его можно в незначительном количестве добывать из старой пленки. Дядя Альфред однажды повел меня в ателье, где снимали кинокартину. Помню нестерпимо яркий свет ламп с угольной дугой и воспаленные глаза заgrimированных актеров.

В нашей бывшей женской гимназии программа еще не реформирована, нас учат писать акварелью цветы, танцевать, заниматься другими предметами для девочек. Состав преподавательниц, людей прошлого века, не умеет обращаться с мальчиками. К счастью, у нас в классе нет ни буйных, ни невоспитанных. Преподаватель французского языка, веселый и любезный француз Маршан, учит нас детским песенкам. Позже я беру у него частные уроки.

Дни бегут. Главное событие в моей жизни — это появление в школе контрольной комиссии, состоящей из товарищей большевиков, требующих полной перемены буржуазных методов преподавания и замены их «трудовым процессом». Начальница, не понимая чего от нее хотят, с полным отсутствием воображения посылает учеников в подвал чистить в нетопленном помещении мороженую картошку. Я категорически отказываюсь и за это исключен из школы, чего втайне и желал. Отец ведет меня в Петропавловскую школу, говорит по-немецки с директором, после короткого экзамена меня принимают. В школе царит тот же беспорядок, но, главное, есть немецкий язык, в котором, как и в истории, географии и физике, я преуспеваю, чего не могу сказать о математике, — к ней, как ко всякой абстракции, я чувствую отвращение. Я уже из тех, для кого «только видимый мир существует». Я познакомился с преподавателем русского языка и литературы Евгением Львовичем Карским, который у себя на дому читал лекции по русской литературе десятку учеников. У Карского я узнал и полюбил Гоголя, его анализ

«Мертвых душ» был захватывающе интересен, и я сохранил наилучшие воспоминания об этом «семинаре». По происхождению Карский был немец по фамилии Крених.

Лавина событий обрушилась в ноябре 1918 года. Австрия подписала мирный договор с Антантой, Карл Первый отказался от престола. Ставшая республикой Австрия, в прошлом столетии от Ватерлоо до Седана правившая Европой, потеряла семь восьмых своей территории и 45 миллионов душ населения, захваченных Польшей, Чехословакией, Сербией и Италией.

От одного из членов германской дипломатической миссии отец узнает, что, в отличие от Германии, Австрия, буквально ограбленная Антантой, не может возместить убытки, понесенные австрийцами в России.

Если смотреть на новую Россию с ее новым названием Р.С.Ф.С.Р. (что остряки переводят как «русский сахар фунт сто рублей»), если смотреть на нее с птичьего полета, то становится ясным, что политика доминирует в стране. Московские улицы особенно ярко отражают то время, будучи гигантским калейдоскопом, чудовищным монтажом афиш, плакатов, летучек, бандеролей, возвещающих новые декреты, героические мероприятия, лозунги, цитаты Маркса и Ленина, ограничения, запрещения и угрозы — все, что новое правительство провозглашает ежедневно. Не говоря уже о продуктах питания, во всем нехватка. Исчезли электрические лампочки, мыло, нитки для шитья, иголки, аспирин, карандаши и многие другие вещи, которых не замечают в нормальной обстановке, но отсутствие которых превращает существование в кошмар.

Транспорт полупарализован, редкие поезда берутся штурмом, едут в них, стоя в давке, устраиваются на крышах, висят на подножках вагонов. В городе то же самое происходит в трамваях. Из-за отсутствия сырья заводы и фабрики останавливаются,



магазины, ставшие государственными, пустуют, реальная жизнь умирает, другая, отвлеченная, занимает ее место. Никогда Москва не знала подобного шквала митингов, конференций, диспутов, возрос интерес ко всему отвлеченному, занимающему место конкретных вещей. Молодежь, потерявшая голову от революции, искала выражения своих чувств в философии, в искусстве авангарда, в поэзии, вообще, в словах. Все бежали от реальности, в которой смерть была повсюду, где каждый мог умереть, арестованный по доносу, убитый на улице из-за каких-то сапог. Все убивало — ЧК, голод, холод, тиф, «испанка», новый грипп. Искали забыться в вымысле, в кокаине.

Отец сознавал, что его шансы возобновить коммерческую деятельность равны нулю. Любая служба стала государственной, ему, как иностранцу, недоступной. Он мог бы хлопотать с успехом о репатриации в Австрию, но что стал бы он делать с семьей в совершенно разоренной стране без денег, без связей? Некоторые встречи в Москве дали представление о новой ситуации в театральном мире. Комиссар народного просвещения Луначарский, учитывая нужду рабочих и их растущее отчаяние, искал возможность дать массам за неимением хлеба зрелищ. Задачей было не пытаться направить рабочих в театры и концерты, но организовать на месте их работы представления определенного культурного уровня. Удачным было предложение платить участникам не деньгами, которые ничего не стоили, а пищевыми продуктами. Отец придумал спектакль, состоящий из вступительного слова лектора о Достоевском и четырех картин из инсценировки его романа «Преступление и наказание». Луначарский сразу же согласился, и отец приготовил сценарий постановки с шестью исполнителями, ее можно было играть в «сукнах», т.е. без декораций.

По традиции провинциальные актеры в поисках нового ангажемента съезжались в Москву на Святой неделе. В этом 1919 году артистический мир был в смятении. Развал транспорта, гражданская война, отсутствие антрепренеров вызывали панику.

Администрация заводов и других предприятий, поощряемая правительством, охотно пошла навстречу предложению устроить постановку в клубах и даже в цехах. Так в отдаленных кварталах или за городом состоялся целый ряд представлений «Вечера Достоевского». Актерам был предоставлен примитивный транспорт в виде грузовиков или телег. Эти «вечера» положили конец нашей ежедневной трапезе, состоявшей из пшенной каши с сахарином и морковного чая. Теперь мы получили «кремлевский паек» — пшеничную муку, сахар, чай, подсолнечное масло, свиное сало и картофель в количестве достаточном до весны.

Один из концертов, организованных отцом, на который я смог попасть, остался для меня незабываемым воспоминанием.

Луначарский решил дать возможность рабочим и служащим большого сталепрокатного завода, когда-то основанного под Москвой французом Гужоном, услышать голос лучшего тенора России — Леонида Собинова, бывшего еще недавно солистом театра Его Императорского Величества.

На платформе огромного гидравлического пресса была устроена эстрада, на которую краном подняли рояль. В полутьме гигантского цеха, под цепями и ремнями, двухтысячная толпа, стоя, затаив дыхание, ожидала появления в ослепительно-белом свете прожектора кумира всей России. Гром аплодисментов приветствовал певца, писаного красавца в идеальном фраке. Его единственный по красоте голос заставил биться сердца этих суровых людей, овации по окончании концерта, вероят-

но, были самыми грандиозными во всей его головокружительной карьере.

Инфляция разрастается, сотни превращаются в тысячи, а затем — в каскады миллионов и миллиардов. Серебро исчезло уже в начале войны, теперь и медные деньги канули в вечность, будучи заменены, «имеющими обращение наравне с монетами», почтовыми марками. Никто не заботился о деньгах, на черном рынке все можно было «достать» в обмен. Привилегированные лица режима имели все в своих закрытых и охраняемых вооруженными красноармейцами кооперативах. Все другие меняли или воровали.

Один школьный товарищ хотел во что бы то ни стало ознакомить меня с колоритной и скрытой Москвой, т.е. со «дном» столицы. О том, чтобы попасть внутрь Хитрова рынка, не могло быть и речи, даже милиция боялась этой человеческой клоаки, мира вне времени и пространства, управляемого по своим законам. Но и внешнее окружение давало представление об этом кошмаре. Жуткие нищие в рванье, с босыми ногами на грязном снегу выставляли ужасные болячки, хрипели угрозы «дай, а то укушу, у меня сифилис». Проститутки, старые или несовершеннолетние, изрыгали матерную ругань. Бабы в грязных тряпках продавали самогон стаканчиками и теплые пирожки, которые они хранили под юбками, между ляжек. Беспорядочные, лет по 12—14, потерянные или брошенные матерями в водовороте гражданской войны, жили на улицах, спали, где попало, зимой, в морозы под котлами для варки асфальта. Жили попрошайничеством, мелкими кражами и торговлей вразнос и поштучно «ирисок», тянучек и папирос. Все они курили, пили водку, некоторые нюхали кокаин. Внутренностью Хитровки был лабиринт в развалинах или заброшенных, полуразрушенных домах — пристанище воров, бандитов и бродяг и склады воро-

ванного. При Сталине Хитров рынок и его обитатели были ликвидированы пулеметами и бульдозерами. Впрочем, власти и не думали сажать их в переполненные тюрьмы, считая безнадежными.

В эти лихие годы вечером и особенно ночью улицы и переулки Москвы были опасными. Парадные входы заколочены досками, пользовались черным ходом, находящимся под надзором дворника и запертым на ключ вечером. Тем не менее нападения и налеты были ежедневным явлением. Зимой раздвигали на улицах. Образчик мрачного юмора, иллюстрирующий действительность: буржуа, или по-советски «буржуй», в шубе идет один ночью по улице. За ним бежит маленький оборванец и хнычет: «Дяденька, я замерз, дай шубу». Господин не обращает на него внимания. Вдруг из-за угла переулка вырастает «шкет», как называли этих типов, с «финкой», т.е. финским ножом в руке, и басит: «Гражданин, не мучь дите, отдавай шубу».

В некоторых кварталах шкет был часто героем, нападавшим только на богатых, не имея ничего общего с хулиганами и их бессмысленным вандализмом. Шкет никогда не шутил и требовал беспрекословного уважения. Я видал некоторых из них. Похожие друг на друга, широкоплечие и крепкие, они были одеты всегда в черную кожаную куртку, под которой была надета матросская тельняшка. В начале нэпа, когда стали появляться товары из Германии, шкеты носили шелковые шарфы в широкие черные и белые полосы, которые они лихо забрасывали одним концом назад в подражание Гарри Пиллю — Джеймсу Бонду той эпохи. Как и он, шкеты украшали голову светлым кепи с большим козырьком. Ко всему этому они носили матросские «клеши» и классическим жестом держали обе руки засунутыми в рукава, что вызывало у «огольцов», т.е. мальчишек тех времен, уважение и восторг — они знали, что шкет в одной всегда держит «финку».

Никогда Москва не видала подобного количества пешеходов. Среди них множество в военной или полувоенной потрепанной форме, в кожаных куртках, выношенных и грязных (на базарах было гораздо легче достать подержанную и простреленную солдатскую шинель, чем штатское платье). Всюду встречались «бывшие люди» (которых звали «недорезанными буржуями»), донашивающие остатки гардероба, в нелепо выглядящих серых котелках, в смокингах, надетых на толстую фуфайку, в калошах в качестве обуви. Нередко можно было видеть старую даму в юбке, сшитой из оконной портьеры, продававшую на улице лорнетку, крючки для ботинок, старый корсет и другие всевозможные предметы, которые только подчеркивали нищету и неприкаянность этих людей. Нужно добавить, что в городе развелось множество «магазинов случайных вещей», а также «антикваров» с их олеографиями, поддельными картинами Шишкина, треснувшими фарфоровыми слонами, фальшивыми севрскими чашками. Торговали в них дамочки, ничего во всем этом не понимающие, и иногда можно было набрести на интересную вещь.

Я заметил в нашем переулке странную пару, шедшую всегда с отсутствующим видом, как будто не замечая окружающего. Мужчина высокого роста, одетый в синий блейзер с цветком в петлице и белые фланелевые брюки, вел под руку высокую даму в большой белой шляпе с густой вуалью, в белом кружевном платье с таким же зонтиком. Я был поражен их элегантностью и прекрасной внешностью. Они никого не удивили бы где-нибудь в Монте-Карло или Ницце, но казались совершенно необычными людьми в Архангельском переулке в 1920 году. Позже я узнал, что это были англичане, преподаватели английского языка, в прошлом гувернеры в богатой московской семье,

глубоко привязанные к России, из-за чего они отказались вернуться на родину.

К нам часто заходил поболтать Рахманов, живший в соседнем доме. В прошлом богач, нашедший после революции приют в Московском Художественном театре, где он, певец-любитель, исполнял небольшие роли в постановках Немировича-Данченко, опереттах «Лизистрата» и «Перикола» с пассивной Немировича, красавицей Баклановой. Эти спектакли были показаны в турне по Европе, и здесь примадонна покинула труппу для Голливуда. Через несколько лет я видел один из ее фильмов «Человек, который смеется» с Конрадом Фейдтом.

В одно воскресенье Рахманов пригласил меня на завтрак. Это было зимой, и большая квартира Рахманова не топились. Меня удивила его обстановка, картины, ковры, книги, столовая в стиле модерн, в свое время сделанная на заказ в Вене, Рахманов, в шубе с бобровым воротником, шапке и перчатках, сидел за столом. Старый лакей, унаследованный от родителей, в древней ливрее подал нам на серебряном блюде две огромные вареные моркови, от которых валил пар. В великолепном графине из красного хрусталя была чистая вода. После этого блюда богов были поданы маленькие саксонские чашки с кофе из жженого ячменя. Хуже и красивее этой трапезы я никогда не видел.

Квартира Рахманова была «забронирована» как принадлежащая артисту Художественного театра, и он мог спокойно жить в шести комнатах, не опасаясь «уплотнения».

Другим анахронизмом был Тер-Оганесов, в прошлом главный директор у нефтяного короля Лазарева. В советской стране Тер-Оганесов сохранил свой особняк, лакея, двух горничных, шофера, автомобиль, будучи во главе советской нефтепромышленности. Вечером, к ужину, он с сыном, юрисконсультант Дома крестьянина, каждый вечер одевали смокинги.

В том же соседнем доме жил старый актер Чинаров со своим братом, профессором Мсериянцем, и сестрой пианисткой. Чинаров часто заходил к нам, всегда неожиданно и всегда в возбужденном и возмущенном состоянии по поводу всевозможных причин. Его внешность вполне отвечала амплу комика. Был он толстый, с круглыми глазами на выкате, одетый в эксцентричный костюм из своего обширного театрального гардероба, например, с лиловым галстуком на розовой рубашке, кофейного цвета котелком и в визитке с клетчатыми брюками и белыми гетрами на желтых штиблетах. В театре Сабурова, в Петербурге, он играл в фарсах, которые пользовались большим успехом у местного полусвета. Я узнал, каким образом Сабуров давал в своем театре все новейшие фарсы через неделю после премьеры в Париже. Надо сказать, что литературной конвенции между Россией и Европой не существовало, и театральные пираты широко и безнаказанно снабжали русскую сцену всеми французскими новинками. Вот как они действовали: Чинаров знал в Париже В., литератора и театрального журналиста, который заказывал ложу на генеральную репетицию и посылал телеграмму Чинарову. Два дня спустя тот прибывал с русской стенографисткой в день спектакля. В их ложе были также В. с французской стенографисткой, которая незаметно записывала текст премьеры. Чинаров отмечал детали постановки. Всю ночь работали над русским переводом. Утром Чинаров отправлял Сабурову длинную телеграмму с подробностями о ролях, костюмах и декорациях. Затем, уже в купе норд-экспресса всю ночь работа продолжалась. По приезде Чинаров на лихаче гнал в театр, где занятые в пьесе исполнители были уже в сборе для первой читки. Неделей позже спектакль предлагался петербургской публике.

После сорока лет лихорадочной деятельности Чинаров, трезвый и дисциплинированный человек, скопил состояние в 350.000

рублей, т.е. 700.000 франков золотом. Депонированное в одном из русских банков, оно было конфисковано в ходе октябрьского переворота. После этого Чинаров, несмотря на свой живой ум и юмор, производил впечатление человека поврежденного. Он не находил слов, чтобы заклеить власть, ограбившую актера и его трудом заработанные деньги. То же самое произошло с кумиром всей России Шаляпиным: деньги, заработанные его голосом, достались якобы народу, чего он никогда не простил.

Школьный бал. Одно воспоминание: Ксения Берг, первая ученица и красавица, с золотыми косами и черными бантами, в шелковых чулках и туфлях на высоких каблуках, окруженная восхищенными девочками. Ученики сдержанно созерцают ее. В России, как и в Испании, настоящие мужчины почитают красоту.

Охладев к почтовым маркам, я продал мою маленькую коллекцию и французский каталог школьному товарищу, что составило небольшую сумму денег. На Кузнецком мосту я обнаружил еще открытый книжный магазин Татвэн (б. Готье) в запущенном состоянии, без отопления, под надзором старушки, закутанной в шали. Цены на книги были еще старые, я, не найдя ничего достойного моего внимания, уже уходя, заметил на верхней полке какие-то томики, которые оказались сочинениями Флориана в издании 18 века, с гравюрами и оригинальными переплетами. Конечно, я, не задумываясь, их купил.

Отец, всегда интересовавшийся живописью, посоветовал мне посетить частные дома, реквизируемые у буржуазии, наполненные предметами искусства и открытые для публики. Два из них меня заинтересовали: дом А.В.Морозова с коллекцией русского фарфора и особняк французского виноторговца Депре, в котором я нашел замечательную библиотеку русских книг по искусству и где я впервые узнал и оценил гений Обри Бердслея.



Незабываемыми были мои посещения коллекции Морозова, одного из династии купцов-миллионеров. Однажды в воскресенье я вошел утром в еще пустой музей, где меня встретил представительный старик в элегантно каракулевой шубе — Алексей Викулович Морозов, собравший эту единственную в мире коллекцию. Как большой знаток он был оставлен при музее, где ему дали комнату, в которой он и жил. Его, по-видимому, удивил мой возраст и серьезные вопросы, и в последующие мои визиты он всегда водил меня и рассказывал много интересного.

Театральная деятельность моего отца давала ему возможность получать контрамарки, т.е. бесплатные места во все московские театры. Мой первый театральный выход был в оперу Зимина, бывший частный театр, построенный богатым меценатом в стиле модерн, весь в сине-зеленых с серебром тонах, что придавало зрительному залу причудливый облик подводного царства. Театр не был отоплен, и в воздухе висел туман от дыхания зрителей, укутанных в шубы и полушубки. Демон, главная роль в опере, пел полуголый и посиневший от холода.

В эти годы в Москве распространились маленькие «театры-студии». Один из них, под названием «Семперанте», был «театром импровизации», возглавляемым актером Быковым. По слухам, бедность вынуждала его спать в театре, за кулисами. Однажды вечером, в жестокий мороз, я пробирался туда меж сугробов в переулках с погашенными фонарями. Театральный зал помещался в подобию сарая, вместо сидений для публики стояли скамьи. Сцена без занавеса имела две белые кулисы, три или четыре белых куба заменяли мебель. Позади в зале стоял большой проекционный аппарат. Погас свет, и зажегся прожектор. Это было началом фантасмагории: белые стены, фон, кулисы, актеры с белым, как мел, гримом, одетые во все белое, были расцвечены разноцветными абстрактными мотивами. В

движении все мелькало в этом калейдоскопе планов, кругов, квадратов. Жесты увеличивали эффект, фон превратился в фантастическую перспективу. Быков создал поразительное, совершенно оригинальное зрелище с помощью одного источника освещения. Актеры не были связаны текстом и играли без суфлера, импровизируя на тему раздвоения личности. Пьеса носила название «Двое». Я уходил из театра под впечатлением яркой индивидуальности Быкова и необычного настроения, созданного этим странным зрелищем.

Несмотря на революцию, театральная деятельность развивалась. 3-я студия Художественного театра под руководством Вахтангова, Камерный театр Таирова и театр Мейерхольда были во главе смелых поисков и в течение известного периода шли впереди Пискатова в Берлине и Гастона Бати в Париже.

Во главе классического театра находился Академический Малый театр, со своими вековыми традициями и плеядой уже пожилых корифеев. Это почтенное учреждение соответствовало парижской Комедии, «Комеди Франсез» и пользовалось уважением театралов, хотя молодые энтузиасты относились к нему с холодком, считая этот театр пережитком прежних времен.

Художественный театр Станиславского нам казался лабораторией души, где проходили сложные процессы творчества, где совершенство достигалось долгим и упорным трудом, десятками и десятками репетиций и жертвенностью участников, служивших искусству как Богу.

Результатом были ультрарафинированные постановки, с паузами по хронометру, предназначенными для нагнетания «настроения», особенно нужного в пьесах Чехова; со сценическими эффектами, создававшими иллюзию реальности, вроде занавесок на окнах, раздуваемых ветром, пара от горячего супа на столе, округлых натуральных стволов деревьев. Но все эти

приемы нас только расхолаживали, раздражали и мешали игре воображения. Мы покидали театр с досадным чувством неудовлетворенности. Нас привлекал авангард. На исходе лихолетья он был символом возврата к жизни.

Злобой дня был Всеволод Мейерхольд. Присутствуя на его первых постановках, я понимал, что не все удавалось гениальному провидцу, каким он был, многое не оправдывало себя, но и его падения, и его взлеты были грандиозны. Его талант проявлялся даже в ошибках. И главное — в его театре зритель не чувствовал себя отрезанным от сцены: отменив рампу, занавес и суфлера, Мейерхольд позволил присутствующим быть подлинными участниками действия.

Постановки Мейерхольда осуществлялись в сложных конструкциях беспримерного размаха. В действе «Даешь Европу» по роману И.Эренбурга, инсценировавшем воображаемое нашествие Красной Армии на Европу, некоторые детали врезались мне в память. Например, в сцене, где красноармейцы преследуют польских фашистов, актеры, жестикулируя, бегут на месте, а позади них быстро передвигаются декорации, создавая иллюзию бегства.

Совершенно замечательным был оркестр — безжалостная карикатура на джаз-банд капиталистов.

В пьесе Островского «Лес» двое бродячих провинциальных актеров встречаются на перепутье. Чтобы создать впечатление одиночества этих людей, Мейерхольд заставляет их идти по узким доскам, подвешенным на большой высоте. В другой сцене диалог происходит на качелях, под звуки гармошки, тихо наигрывающей сентиментальный вальс, передающий душевное состояние героини. Никакой другой театр не действовал так на воображение, не заставлял столько думать, как этот театр у Триумфальных ворот.

Многие иначе относились к этой новизне, не признавая театра без бархатного занавеса, без рампы и суфлера. В Москве ходили анекдоты об охрипшем актере, который простудился в роли голого боярина на трапедии в оперетте Мейерхольда «Борис Годунов».

Серым, дождливым утром я зашел на выставку Штеренберга, художника авангарда. Я бродил в двух холодных и пустых залах, пока одна композиция не привлекла мое внимание. Картина была банальным натюрмортом, написанным в необычной манере: все предметы были изображены с разных точек зрения — одни с птичьего полета, другие снизу или искоса, что создавало противоречивые перспективы и вызывало какое-то безотчетное беспокойство. Мне тогда пришла в голову мысль, что простая табуретка, предмет удобства, поставленная кверху ножками, становится предметом искусства.

Как и прежде, я продолжал быть неутомимым читателем, часто проводил вечера в Тургеневской читальне. Мой выбор был довольно беспорядочным — русские классики, переводы Мольера и Сервантеса, романы и рассказы из литературы приключений в переводах с английского.

## VI

В 1921 году происходит переворот, гражданская война, тиф и голод принимают опасные для советской власти размеры. Газеты открыто пишут о двух миллионах умерших от голода, о людоедстве в некоторых частях страны — на кладбищах вырыва-

ют трупы и едят, убивают маленьких детей, чтобы утолить звериный голод.

Страна накануне катастрофы. В последний момент Ленин принимает решение и провозглашает нэп — новую экономическую политику. Она дает полную свободу частной инициативе, свободу изготавливать, продавать, покупать и ввозить из-за границы все, что понадобится обывателям гигантской страны. Деньги будут стабилизированы, вместо миллиардов, не стоящих ни гроша, вводится новая единица — червонец. Иностранцам разрешается ввозить беспошлинно все товары, строить фабрики и заводы, брать концессии на разработку природных богатств и вывоз леса, мехов, золота, ввозить пшеницу для населения и сырье для промышленности. Происходит массовое нашествие деловых людей во главе с немцами и американцами. Скоро сотни грузовиков появляются в Москве с банками сгущенного молока и обувью. Все это продается за гроши, хлеб улучшается и появляется белая булка! Многие плачут от радости. Во всем происходит граничащее с чудом улучшение.

Отец встречает О., сибирского знакомого, который с группой немецких промышленников открывает контору в Москве. Он с энтузиазмом рассказывает об экономическом чуде в Германии, еще недавно стране ограбленной, а теперь восстановленной с энергией и быстротой, превосходящей всякое воображение. О. знакомит отца с другими немцами, которые хотят увидеть наши картины Маневича, уехавшего в Америку и ставшего там знаменитостью, и Юона, живущего в Москве. Отец, не задумываясь, продает все, за исключением одной русской вещи, что на этот раз ставит нас на ноги.

Я отмечаю заметное улучшение вида московских улиц — чистота, вымытые витрины магазинов, всюду видна свежая краска. Соблазны на каждом шагу: шелковые галстуки, फिल्де-

персовые носки, шляпы, сорочки с воротниками и булавкой о двух шариках, согласно новой моде. Все это ввезено из-за границы.

На Чистых прудах вновь открывается кондитерская Дюмон, в роскошном, заново отделанном помещении опять продают «Эклеры» и другие пирожные и торты. Барышни Дюмон, две прекрасно одетые и изящные француженки, с ледяной любезностью обслуживают скромную клиентуру. В центре города, на Кузнецком мосту, у Кадо, и Трамбле, на Тверской у Филиппова, опять продают знаменитые пирожки. Всюду открываются кафе. Первое в Столешниковом переулке под названием «Сбитые сливки». Напротив рыбный магазин с выставленным в витрине сигом, полупрозрачной копченой рыбой, сзади освещенной лампочкой.

Сильнейший для меня соблазн — новые фильмы расцветшей германской кинопромышленности. «Кабинет доктора Калигари», «Доктор Мабузэ», «Усталая смерть» идут в кинотеатрах «Колизей» и «Волшебные грезы». На Тверском бульваре в кино «Великий немой» показывают американские приключенческие картины «Тайны Нью-Йорка» с Пирл Уайт и «Красное кольцо» с Рут Роланд. Отец, связанный теперь с Комитетом культурной связи с Европой, щедро снабжал меня билетами в театры и концерты, и я смог услышать иностранных гастролеров, таких как пианисты Шнабель, Петри и Корто, скрипачи Тибо и Сигети, а также лучших русских музыкантов того времени Орлова, Боровского, Игумнова, Фейнберга, Оборина и других. Почти все эти концерты давались в Большом зале консерватории с овальными портретами композиторов или в Колонном зале бывшего Дворянского собрания.

Моим компаньоном всегда был Аркадий Данильянц, брат которого Павлуша был известен в Москве как кинодеятель. Ар-

кадий, будучи немного старше меня, любил музыку, играл на скрипке и, конечно, был рад сопровождать меня на концерты. Он жил с семьей в соседнем доме, был культурен, любил спорт и ценил английскую литературу. Он же настоял на моем спортивном воспитании. Летом раз в неделю мы ездили на стадион, где я стал бегать на средние дистанции и научился прыжкам в длину и высоту и бросанию диска. Зимой мы ходили в школу Градополова, тогдашнего чемпиона-тяжеловеса по боксу. У него мы занимались этим видом спорта, благоприятным для развития и здоровья. Иногда в хорошую погоду совершали прогулку по городу. Все витрины были освещены, выставляя новые соблазны, как, например, магазин обуви на заказ Зеленкина. Толпы гуляющих замирали в экстазе перед окнами вновь открытого магазина Елисеева, в раззолоченных витринах виднелись бутылки шампанского, трюфели, гусиный паштет, сыр Рокфор, ананасы, американские папиросы «Кэмэл» и прочие забытые деликатесы.

В двух залах кинематографа «Метрополь» шел немецкий фильм «Индийская гробница» со знаменитым актером Конрадом Фейдтом, который был идиолом всех молодых москвичек.

Немного дальше, перед Большим театром, был разбит сквер, место вечернего гулянья молодых людей, одетых по неписаной моде в белые рубашки с открытым воротом и закатанными рукавами, в узких брюках и «американской» кепке. Девушки в блузках или платьицах, с обязательным платочком на голове гуляли табунком, смеясь и болтая. И они, и молодые люди вели себя прилично. Хулиганов и проституток на «театралке» не терпели, никто не лузгал семечки, как на бульварах. Молодежь сама играла роль милиции, и за малейшее нарушение, не церемонясь, выгоняли виноватых.

Проходя мимо гостиницы «Люкс», я поднимаю голову, вижу балкон комнаты, где когда-то мы жили с мамой, и вспоминаю мои одинокие и тревожные часы в первые дни войны.

Ближе к Страстной площади Тверская приобретает иной характер. «Коты», как называют сутенеров, внимательно следят за накрашенными девками, те пристают к одиноким мужчинам, в ответ на отказ, грубо ругаются. Кучера-лихачи, хрипя, предлагают поездку в «карете любви». Беспризорные навязывают букеты цветов, прохожие окружают мороженщика и его зеленый ящик на колесах. Шашлычный чад и звуки танго вырываются из открытых дверей ресторана-сада «Шато де Флер».

Московские бульвары ни в чем не сходны с парижскими. Это широкое кольцо, окружающее центр города, род сада с четырьмя рядами деревьев и лужайками, с дорогами, тротуарами и трамвайными рельсами по двум сторонам. По вечерам там гуляет или сидит на скамейках простой народ — мужчины в косоворотках, тужурках и сапогах, женщины в платочках, все они без усталости лущат подсолнухи, шелуха от которых толстым слоем покрывает все дорожки, что и вдохновило Маяковского на следующий стишок, выставленный в «Окне РОСТА»:

Не видать под шелухой жизни солнечной,  
Звать Москву уж не Москвой, а Подсолнечной!

Девушки слушают шутки и комплименты своих кавалеров с притворным безразличием. Франт в сапогах со скрипом, что было высшим шиком, наигрывает на гармошке «Яблочко» — жалобно-иронические куплетцы, неразрывно связанные с убогой и трагической эпохой гражданской войны.

Мы проходим мимо кафе «Бом» — когда-то приют поэтов-имажинистов во главе с Сергеем Есениным. Дальше видим еще заколоченное кафе «Питтореск» — прежде штаб-квартиру футуристов и Маяковского, читавшего здесь свои первые сти-



хи, вызывавшие скандалы и потасовки. Когда-то меня шокировал его вызывающий и, как мне казалось, наглый тон, позднее я открыл, понял и оценил его гений.

Я присутствовал на одном из последних концертов Шаляпина до его окончательного отъезда за границу. Позже я понял, что певец произвел на меня большее впечатление во фраке на эстраде зала Консерватории, чем на сцене театра, переодетый в отрепья Мельника или на экране кинематографа в его единственном фильме «Дон Кихот». Правда, я никогда не видел «Бориса Годунова». Но на эстраде его голос, фразировка и мастерство были истинным колдовством.

После окончания я, спускаясь по лестнице, увидел сидящего на подоконнике брюнета в пенсне и военной форме в оживленной беседе с двумя или тремя людьми. Его личность почему-то привлекла мое внимание. «Это Троцкий», — тихо сказал мне Аркадий.

Комитет культурной связи вызвал отца, чтобы сообщить ему о проектах приглашения на гастроли в Москву некоторых иностранных актеров, в ответ на что он делает конкретные предложения. Он получает билеты в Большой театр, которыми мы будем пользоваться в течение пяти лет. Мама любит балеты и берет меня с собой на все представления. Таким образом, я видел «Корсара», «Раймонду», «Дон Кихота», «Спящую красавицу», «Коппелию», «Тщетную предосторожность» и «Конька-Горбунка» с танцорами Жуковым, Тихомировым и Рябцевым, балеринами Балашовой, Кандауровой, Рейзен, Девильер и примадонной Екатериной Гельцер, сестрой жены Ипатьева. Балерина говорила о своей сестре неохотно: будучи в большом фаворе в Кремле, она предпочитала умалчивать о своем родстве с Ипатьевым, монархистом и эмигрантом.

Отец знакомится с Константином Коровиным, художником и декоратором Большого театра, жившим долго до войны в Па-

риже, где он писал талантливые картины всегда на одну тему: огни города, феерия ночных бульваров Парижа. Отец покупает одно полотно, показывает его О. и другим немцам, все от него в восторге. Коровин присылает еще несколько картин на тот же сюжет, и немцы их расхватывают. Коровин, человек любящий пожить, близкий друг и собутыльник Шаляпина, всегда нуждается в деньгах и рад продать свои вещи по хорошей цене. Желая сделать отцу подарок, он предлагает написать портрет мамы. В конце 1922 года портрет закончен, сегодня он висит у меня.

Этот эпизод пробуждает вкус отца к живописи, переходящий в страсть. Его поразительная зрительная память позволяет ему в короткий срок приобрести широкие познания в области русской живописи. В конце его жизни в Берлине он был известным экспертом в этой области.

Еще о танцах. Все больше распространяется в Москве тип «девушки с чемоданчиком» — ученицы школы Голейзовского, последователя новатора танца швейцарца Жака Далькроза. Их узнают на улице по чемоданчику и характерной походке в «третьей позиции». О них Смирнов-Сокольский упоминает в своих монологах:

Голейзовский с рвением  
Танцует с обнажением  
Танцы с всякой штуцией,  
Что пахнут плаституцией.

Нужно ли уточнять, что его ученицы, как и школы другого хореографа, Элирова, танцевали почти в костюме Евы? Идея вызвала подражание несколько иного рода. Некоторые хорошенские молодые девочки без определенных занятий и предрасудков появлялись со своими чемоданчиками в барах больших отелей, заполненных иностранцами и валютой, и становились

опасными конкурентками профессионалок, с возмущением обзывавших их «пластитутками».

Я плохо занимаюсь в школе и сознаю это. Я не способен интересоваться предметами, преподаваемыми без убеждения, спустя рукава. Еле-еле свожу концы с концами, делая только совершенно необходимое. К счастью для меня, академическая дисциплина была сильно расшатана, и я не являлся исключением.

Многогранность жизни притягивает меня, и в частности — живопись. Не имея желания стать художником, я, глядя вокруг себя, привык все воспринимать как смену изображений, как композицию из линий, силуэтов, света и теней. Эта привычка, ставшая рефлексом, позволила мне без всякой подготовки стать профессиональным фотографом. Вот и в данный момент я околдован жизнью, с ненасытной жадностью собираю и сохраняю все впечатления, ищу их, безотчетно чувствую, что сохраняю их для моих воспоминаний.

Я знал одного молодого человека, жившего по соседству, с которым иногда обменивался парой слов, встречая его в нашем переулке. Однажды вечером, возвращаясь из читальни, увидел его сидящим на скамейке бульвара. Григорий, как его звали, остановил меня, предлагая папиросу. Я тогда еще не курил, но принял его приглашение присесть. Мне показалось, что ему хочется с кем-нибудь поговорить. Он был старше меня, худой, высокого роста и прилично одетый. Одно меня удивляло: он всегда, зимой и летом, носил перчатки. Любопытство заставило меня задать вопрос по этому поводу. Не говоря ни слова, он снял одну перчатку и показал свою руку. Она была темного, сине-лилового цвета. Я осторожно спросил, болезнь ли это? «Нет, — покачал он головой, — это от моей работы». Он рассказал мне свою жизнь. Его отец, бывший меховщик в Вильно,

в начале нэпа создал в Москве семейную артель по окраске мехов. Имея старые рецепты, они могли прекрасно делать свое дело вне конкуренции и скоро были завалены заказами. Но эту деликатную работу можно было исполнять только голыми руками, пользование резиновыми перчатками лишало руки нужной чувствительности. Григорий меланхолически посмотрел на свою руку, сказав: «Зато вот мое вознаграждение», — и вынул из кармана толстый бумажник, набитый червонцами.

Этот Григорий был необычным человеком. Простой, лишенный всякой культуры, он вырос в вечном страхе перед деспотом отцом, в постоянной тяжелой работе. Все это вместе взятое выработало в нем стойкий характер, лишенный особой чувствительности. Несмотря на эту черту, он не был груб и даже мечтал о «красивой жизни», что очень характерно для русских вообще.

Григорий наивно признавался, что почерпнул эту идею в венских опереттах, возобновленных в театре «Максим» на Большой Дмитровке. Его признание меня тронуло и возбудило любопытство. Я без труда обзавелся контрамарками, чтобы не встретить отца Григория, вызвал его на лестницу и, показав билеты, предложил ему зайти за мной завтра вечером. Он так и сделал. На улице нас ждал извозчик. Григорий в новом костюме и галстук, гладко выбритый, курил сигару, вероятно, чувствуя себя парижским кутилой. Долгие годы деля время между работой и сном, теперь он имел право на отдых и удовольствия.

Театр находился в помещении бывшего кафешантана. К моему удивлению, спектакль «Принцесса чардаша», переименованный в «Сильву», оказался намного лучше моих ожиданий. Постановка была довольно убогой, но исполнители не оставляли желать лучшего. Комик Ярон со сценическим тактом и чувством меры тонко дозировал свои эффекты, никогда не переигрывая, и тем приближался к лучшему образцу — венской

знаменитости Максу Палленбергу. Примадонна Татьяна Бах, которую шарм и кошачья грация делали неотразимой, обладала главным достоинством каскадной опереточной дивы — умением выходить и уходить со сцены в ореоле торжествующей женственности.

Спектакль привел нас в хорошее настроение. Григорий не желал возвращаться домой, соблюдая традицию, он предложил отправиться ужинать. Мы много слышали о кафе «Бом». После 1917 года завсегдатаи перекочевали в «Кафе поэтов», «Бом» стал приютом богемы и их друзей. Это были люди, выброшенные революцией за борт жизни. Сидя на просиженных диванах, они только курили, пили желудевый кофе, изредка лениво перебрасываясь словами. Девчонки сидели, зевая от скуки. В воздухе висел туман.

Но это было давно. В начале нэпа новый владелец, починив диваны и отремонтировав помещение, устроил ночной ресторан с небольшой программой. Войдя, мы скромно уселись за столик, оглядывая публику. Григорий, щеголяя знанием дела, уверенно заказал анчоусы, блины с маслом, сметаной и балыком и графин белого вина.

На маленькой эстраде появился высокий и полный мужчина в светлом костюме и, пританцовывая, запел:

Джон Грей был всех смелее,  
Кэтти была прекрасна,  
Страстно  
Влюбился Джон Грей в Кэтти...

После ананаса и кофе Григорий откинулся назад, закурил сигару, пуская кольца. Он чувствовал себя киногероем и блаженствовал.

Кафе «Бом» разочаровало. Но, в конце концов, это было историческое место, и блины, а особенно балык, были выше всяких похвал.

Другая вечерняя экспедиция привела нас в «Палас», довольно жалкий мюзик-холл у памятника Пушкину. Один из номеров оставил какое-то тяжелое впечатление. Мальчик лет 12-ти, одетый в потертую бархатную курточку с кружевным воротником, с бледным, болезненным лицом и длинными волосами, писал на большой грифельной доске цифры, продиктованные зрителями, всегда десятки тысяч. После нескольких секунд умножения в уме он давал результат. Зрители долго высчитывали и проверяли — мальчик никогда не ошибался. Его звали Володя Вербицкий. Несколько лет спустя газеты сообщили о его преждевременной кончине.

После представления мы перешли бульвар и оказались перед «Шато де Флер» — в нашем воображении таинственное и соблазнительное место. Мы смело вошли и очутились в небольшом дворике, зажатом между двумя высокими зданиями. На стенах были намалеваны зеленые деревья, всюду висели разноцветные фонарики, несколько горшков герани, столы с сомнительными скатертями и пианино под навесом маленькой эстрады составляли всю обстановку. Наше меню, не будучи ни хорошим, ни плохим, не заслуживает описания, но эстрадный артист Смирнов-Сокольский был, конечно, большим талантом. Свой монолог в рифмах он на этот раз посвятил злободневной теме о растратчиках. После долгих лишений внезапное изобилие вызвало у многих непреодолимое желание пользоваться всеми удовольствиями жизни. Слабые впадали в пьянство, пропив же свои деньги, те из них, которые могли, брали казенные. Так появилась, увы, распространенная категория людей — растратчиков. Смирнов-Сокольский, человек лет 30-ти, с ясным, четким голосом и отличной дикцией, был одет в черную бархатную блузу с галстуком из пышного шелка. В частной жизни он увлекался литературой и собрал библиотеку в 10.000 томов.

В публике было несколько мрачных и пьяных субъектов, которые не слушали артиста. Возможно, они также были растратчиками.

Во время нэпа комсомольцы (члены Союза коммунистической молодежи) не скрывали своего презрения к буржуазному образу жизни, были аскетами. В то время коммунисты не имели права зарабатывать больше 200 рублей в месяц. Одетые в черные косоворотки, они не разговаривали с носящими галстуки и шляпы и жили в нетерпеливом ожидании окончательной «чистки». В 30-х годах их обвинили в «уклоне» и «левачестве» и после приговора революционного трибунала расстреляли.

Большим московским событием было открытие Сандуновских бань, выстроенных в конце 19 века богатыми потомками крепостных актеров времен Екатерины Великой. «Сандуны» были мраморным дворцом невиданной роскоши.

Я в первый раз вошел в Сандуны как в храм, с удивлением глядя на мраморные колонны в салонах, толстые красные ковры и позолоту. Все происходило по ритуалу. Банщик начинал с массажа на большом мраморном столе, затем, отсоветовав мне подняться на полки, где температура была за 50 градусов, вымыл меня мочалкой и посадил в ванну, после которой отвел в огромный, сверкающий мрамором и золотом, купальный бассейн. Затем я был перемещен в мою кабину и уложен на кушетку, весь закутанный в белоснежный мохнатый халат. Мне подали крепкий, душистый чай с рюмкой коньяка и газету. Одновременно делали педикюр. Вся эта процедура длилась чуть ли не полдня и требовала продолжительного отдыха. Я вышел с удивительным ощущением физической и моральной бодрости.

Следующей сенсацией было открытие Летнего сада Эрмитажа. Обширный парк в центре Москвы имел на своей террито-

рии драматический театр во главе с русской знаменитостью Плевицкой, театр оперетты с Татьяной Бах и Григорием Яроном, театр миниатюр, где играли водевили, скетчи, почти все переведенные с французского и английского, и открытая сцена, где подвизались почти исключительно иностранные артисты мюзик-холла. В казино играли в рулетку, баккара и «30 и 40». Ужинали в большом ресторане и в аллеях сада, где под деревьями были накрыты столы со свечами в канделябрах. Теплые московские вечера и ночи без риска дождя создавали условия для приятной ночной жизни.

Каждый вечер Эрмитаж был переполнен толпой нэпманов и их жен и друзей. Все женщины очень элегантны благодаря «Ателье мод», недавно открывшемуся на Петровке. Некоторые нэпманши уже успели съездить в Ригу — то было начало поездок за границу для покупки носильного платья.

Вид столов и нарядных дам, среди которых было много красивых, туалеты, улыбки, оживленный разговор, свет свечей и разноцветных фонариков, выстрелы пробок шампанского — весь этот праздник жизни действовал на Григория и меня и делал нас робкими.

После оперетты «Баядерка» с Татьяной Бах и Яроном мы были голодными, но об ужине в Эрмитаже не могло быть и речи — не говоря уже о ценах, нам просто не дали бы стола — ведь мне еще не исполнилось 16 лет. Но выход был найден. Перейдя через улицу, мы спустились в узбекский подвал, ресторан, где подавали знаменитый на всю Москву плов с барашком, который запивали напитком из простокваши. Все это было недорого и замечательно вкусно. Затем, сытые, мы вернулись в Эрмитаж и позже присутствовали при отъезде Татьяны Бах после спектакля и ужина. Дива вышла, держа в руке тонкую, выскокую тросточку (по последней моде), сопровождаемая горничной со шляпными картонками. На ее знаменитых ногах были



серебряные туфли на крутых каблуках. Артистку ожидала нарядная двухместная коляска, как тогда называли, «американка», запряженная холеной гнедой лошадей. Улыбаясь, Татьяна Бах поклонилась окружающей аплодирующей публике и взяла в руки белые вожжи.

У Григория новое увлечение — он учится ездить верхом и, желая сделать мне подарок, дает абонемент на 10 уроков. Мы едем в манеж Гвоздева вблизи Никитских ворот. От крепкого запаха древесных опилок, конского навоза и кожи приятно кружится голова. Лошади рысцой бегут вокруг, фореитор, щелкая бичом, поругивает учеников. В конце занятия я, по обычаю, посылаю за пивом для него. В манеже встретил Павла Данильянца, брата Аркадия. Он прекрасный наездник, один из немногих, кто имеет право садиться на Урагана, красивого серого жеребца, гордости заведения.

Кроме концертов я вожу Аркадия в театры. Три спектакля остаются в моей памяти: «Человек, который был Четвергом» по роману Честертон в удивительной конструктивистской постановке Таирова в его Камерном театре, «Турандот» Карло Гоцци в оригинальной режиссуре Вахтангова в 3-й студии МХТ и сногшибательная сатира на злободневные нравы «Зойкина квартира» в том же театре.

Аркадий приглашает меня в одно из последних мест уходящей Москвы, в извозчичью чайную «Арсеньич» у Ильинских ворот, в Китай-городе (в 16 веке здесь был центр торговли китайских купцов). В просторном дворе количество пролеток дает представление о главной клиентуре заведения. В большом, низком и полутемном помещении, за стойкой с ярко начищенным медным самоваром человек с черной бородой разливает чай, на скамьях вдоль длинных столов сидят извозчики в толстых армяках на вате. Перед каждым два чайника, один с кипят-

ком, другой на нем поменьше — с заваркой. Гости льют чай не в стакан, а в блюдечко, которое держат на растопыренных пальцах, вздыхают, дуют и с шумом пьют с куском сахара «вприкуску». Желаящим половой в длинном фартуке приносит сковороду со знаменитой «яишенкой» с ветчинными обрезками и свинцовую стопочку для водки. Стоит удушливая жара, стены влажнеют от пара, все пьют «до седьмого пота», т.е. полного блаженства. Курить запрещено. За сто лет этот уголок старой Москвы не изменился.

По поручению Комитета культурной связи отец после долгой переписки заключает договор с Александром Моисси, знаменитым венским актером «Бургтеатра» (позже он играл у Макса Рейнхардта в Берлине), — приехать в 1924 году в Москву и играть с труппой Малого театра пять пьес: «Эдип» Софокла, «Гамлет» Шекспира, «Привидения» Ибсена, «Живой труп» Толстого и «Зеленый попугай» Шницлера. Представления состоятся на сцене Большого театра. Кроме Моисси отец находится в постоянном контакте с артистами Малого театра и его директором Южиным, к которому старые капельдинеры в потертых ливреях с галунами обращаются, говоря «Ваше сиятельство». В действительности настоящее имя Южина — князь Сумбатов.

Моисси присылает отцу тексты и планы мизансцен. Начинаются репетиции, во время которых отец читает по-немецки роль Моисси, чтобы приучить актеров к пьесе на двух языках.

В Москве перешептываются, передают тревожные слухи о здоровье Ленина, одни говорят о последствиях покушения 1921 года, другие о застарелой болезни, делающей его слабоумным. На ухо сообщают о непреодолимом росте влияния Сталина. В воображении возникает бледный лик Страха.

Идя к Григорию, я вижу, как он во дворе предлагает папироску кремлевскому шоферу Кукину, живущему в его же доме. Тот на личной службе у народного комиссара Рыкова, полон чувства собственного достоинства и гордится новой, только что полученной машиной. Это черный «роллс-ройс», прямой как стрела и «породистый» как английский скакун. Мы молча созерцаем этот символ британского превосходства.

Рыков, старый большевик, один из первых соратников Ленина, был весьма популярен, за то что ввел в продажу «сороковку», сорокаградусную водку, тогда как в начале революции граждане вынуждены были довольствоваться 30-ю градусами. Невзирая на эту выдающуюся заслугу, Сталин дал приказ его расстрелять в 1929 году.

Много чего произошло в этом 1924 году, начавшемся с громового удара — смертью Ленина. В жестокий мороз — 24 градуса — бесконечный хвост людей терпеливо стоит перед Колонным залом, где прощаются с вождем. Как полагается, уже кто-то тихо рассказывает новый анекдот: в очереди плачет старушка, ей говорят, «не плачь, матушка, Ленин умер, но дело его живет». «Знаю, родимый, да лучше, чтобы он-то жил, а дело бы умерло».

Обстановка в Москве продолжает улучшаться. Новые английские автобусы марки «лейланд» колесят по городу. Небольшие, но комфортабельные и быстрые, они вызывают восторг публики, как и 125 такси «рено».

Я иду в театр Мейерхольда смотреть «Трест Д.Е.» (Даешь Европу») и «Лес». Несмотря на наше благополучие, я отказываюсь примиряться с жизнью, которая мне кажется какой-то временной иллюзией, гигантским спектаклем, над которым рано

или поздно опустится занавес. Я никогда не забываю, что я в чужой стране, где я родился и которая у меня все отняла...

«Большой», великолепный, красный с золотом театр классического репертуара опер и балетов, в первый раз открыл свои двери драматическим постановкам. Луначарский решил по-царски принять Моисси, большого артиста и человека либеральных взглядов. Мой отец позвал меня на встречу гастролера, в конце церемонии я был ему представлен, он с любезной улыбкой пожал мне руку. Я отлично помню его внешность и одежду. Среднего роста, с темными глазами и гармоничными движениями, он был одет в простой и элегантный костюм и кремовую шелковую рубашку. Репетиция началась. С первых слов я был поражен красотой его голоса, звучавшего как виолончель, ясной дикцией, бархатистым, чисто венским произношением, своей мягкостью так отличным от резкого и отрывистого берлинского выговора. Первую читку вели в полутонах, жесты Моисси были пластичны и красивы.

Во время первых представлений его интерпретация Гамлета меня захватила, позднее мне стало ясно, как правильно Моисси понимал Шекспира, играя принца Датского то трагичным, то циником, нежным или агрессивным. Его искусство фехтования и грация были выше всякой критики, московские актеры давались диву. Весь блеск своего таланта он выявлял в «Эдипе».

Фестиваль Моисси закончился подлинным триумфом, он покинул Москву с контрактом на следующий 1925 год.

Однажды я попал с отцом за кулисы Малого театра, во время представления пьесы «Бархат и лохмотья», написанной наркомом, т.е. народным комиссаром просвещения Анатолием Васильевичем Луначарским, очень популярным в театральных кругах, отчасти по причине его интереса к молодым артисткам. Его

литературная деятельность, как и личная жизнь, были неисчерпаемым сюжетом для московских юмористов. Новая пьеса вдохновила их на следующий стишок:

Гоня искусством рубрики,  
Нарком бьет прямо в цель:  
«Лохмотья» дарит публике.  
А «Бархат» — Розенель.

Исполняемая пьеса была им написана для Натальи Розенель, на которой Луначарский женился, будучи старше на 25 лет. За кулисами лысый господин с животом, усиками и эспаньолкой, в золотом пенсне, держал в руке зеркало, перед которым пудрилась молодая и красивая женщина в пышном платье из гранатового бархата.

В 1927 году мои родители и я встретили их в Берлине, в холле отеля «Бристоль». Меня представили, я поцеловал ее руку.

В 1929 году Луначарский был отставлен, но ему дали возможность уехать за границу, где он на юге Франции, в Ментоне, умер в 1933 году. Ему было 58 лет.

Илья, пожилой извозчик, живет во дворе нашего дома, рядом с конюшней, где стоит его лошадь, некогда бывшая рысаком. Илья, страстный любитель бегов, при случае мне о них рассказывает разные истории. Он человек старой школы, очень вежлив и вызывает симпатию. Однажды во дворе появился один из его клиентов, чтобы спросить, не может ли он его отвезти «на бег» — этим зимним вечером были рысистые испытания при электрическом свете. В разговоре Илья нас познакомил, добавив: «А вот господин, который никогда не бывал на бегах». Тот поразился и с энтузиазмом пригласил меня на ипподром в Петровский парк. Проехав Триумфальные ворота, Илья отдал вожжи, и старый конь, вспомнив свое прошлое, пошел крупной рысью. Мне стало

понятно удовольствие, испытываемое многими от быстрой езды. Подъехав к трибунам, я с моим великовозрастным компаньоном вошли в ограду, а Илья пошел поставить лошадь в конюшню. «Ве́ве», как он просил называть его по инициалам имени-отчества, провел меня на трибуну, откуда открылась великолепная панорама ярко освещенного, ослепительно-снежного ипподрома и чудесных лошадей на проездке со своими наездниками в цветных камзолах, сидящих на легких колясочках. На эстраде духовой оркестр выдувал бравурные марши, на трибунах была нарядная публика в дорогих мехах. Мы перешли во второй класс, где нашли Илью. Мороз покалывал уши, но воздух был тих и чист.

Звонит колокол, это сигнал следующего заезда, рысаки один за другим выезжают на старт, красивые, выхолненные животные. Публика в бинокли наблюдает весь бег, шум и крик толпы нарастает, рысаки идут к финишу, победитель, пройдя столб под аплодисменты толпы, накрыт теплой попоной. Ве́ве в досаде бросает билетик — свою проигранную ставку. Мы поднимаемся на верх трибуны, где буфетчик в белом фартуке поверх полшубка разливает чай и водку, вынимает из ящика горячие пирожки. Ве́ве и Илья хлопают по стопке водки, я пью чай с лимоном и ем очень вкусные пирожки. Я теперь начинаю понимать людей, увлекающихся бегами, и возвращаюсь домой полный новых для себя впечатлений.

Скоро я узнал, что Ве́ве был женат, но жил врозь с женой. Был он мужчиной лет 35-ти, в прошлом, как он себя называл, «герой гражданской войны», хотя о его подвигах ничего никому не было известно. Осев в Москве в 1921 году, он вытребовал «за пролитую кровь на службе революции» пенсию, карту инвалида и право входить в трамвай с передней площадки. Выломав дверь и разбив телефон, он добился сертификата о невменяемости и получил единовременное пособие, позволившее сменить гимнастерку и галифе на модный, в талию, костюм цвета сига-

ры и лаковые ботинки. Благодаря всему этому ему удалось соблазнить дочь солидного инженера и жениться против желания родителей. Не так давно жена, потеряв терпение, подала на развод, а родители, найдя у знакомой старушки вдовы комнату, попросили его туда перебраться, что он и сделал. После этого его отношения с женой и ее семьей очень улучшились. Поговаривали, что во время гражданской войны он в каком-то захолустном городе выдавал себя за героя Котовского и получил субсидию от горсовета. Не нужно забывать, что Россия во все времена была страной самозванцев.

Веве отклонил предложенную ему службу где-то в глуши, вдали от бегов, казино и ресторанов, жил на недостаточную пенсию, занимая у знакомых «до послезавтра» или благодаря удачной игре в покер. Некоторые другие «герои», имея многочисленные привилегии, становились фиктивными компаньонами в артельных предприятиях. Я знал одного такого, который сумел жениться на дочери своего партнера, бывшего замоскворецкого купца.

После ликвидации нэпа вся эта братия была выслана на поселение в Нарымский край.

Я познакомился с Мишей Фрогом, толстым, подвижным и жизнерадостным молодым человеком, жившим по другую сторону Чистопрудного бульвара. Обратив внимание на его новый кричаще элегантный костюм, я задал вопрос о его происхождении, на что он небрежно сообщил, что только что вернулся из Парижа, где две недели пропадал от скуки. Теперь же он был рад быть опять в Москве, в своей семье и вновь обрести веселую компанию приятелей, московские улицы, театры и кино. Узнав, что я собираю фотографии некоторых киноартистов, он позвал меня к себе в большую квартиру, и в его комнате я увидел на стенах около 50 фотографий, обычно выставленных в ки-

нотеатрах. Он объяснил, что его приятели их просто воруют на улице, и это является их любимым спортом. Мне он подарил одну с изображением знаменитого немецкого актера Конрада Фейдта в роли Цезаря Борджиа. Спускаясь вместе по лестнице, мы встречаем на первом этаже двух девушек лет 20-ти в одинаковых длинных и узких модных шубах. Они приветствуют Мишу восклицаниями, улыбками и засыпают вопросами о Париже. Он знакомит нас, говорит о парижской скуке, добавляя, что в Москве его всякий знает, а там он был никто. Я наблюдаю сестер. Старшая Валя А., довольно уверенная, не похожа на младшую Надю, русоволосую девушку с прекрасным цветом лица и совершенно удивительными сине-сиреневыми глазами «с паволокой» и томным, одновременно чуть ироническим и ласково-насмешливым, выражением. Мысли летят в моей голове, где и когда я уже видел эти глаза? Вдруг осеняет — в монографии французского художника Греза, на репродукциях его картин. Все его молодые женщины отличались сходством и все напоминали Надю А.

Прощаясь, она, указав на дверь, сказала: «К нам милости просим. Заходите запросто на огонек после 6 вечера, мы всегда дома. Составляется маленькая компания, пьем чай, фотографируемся, играем «в монетку», иногда все идем в «Колизей», если дают хороший фильм».

На улице Миша говорит: «Зайди к ним как-нибудь». «А ты?» — спросил я. «Ты хочешь, чтобы я пришел к А. с моими «корешками»? Ведь нас всегда не меньше шести человек. Потом, знаешь, у них все слишком прилично, семья, пьют чай... Нет, это не для нас».

В этом году гастроли Моисси прошли так же удачно, как и в прошлом. Теперь отец вел переговоры со знаменитым немецким актером Паулем Вегенером, которого Москва уже знала по



фильму «Голем». Вегенер должен был играть три пьесы: две Стриндберга, «Пляска смерти» и «Отец», и одну Леонида Андреева — «Анатэма». Свободное время отец посвящал покупке картин, персидских ковров и некоторых художественных изданий книг. К нам приходило много визитеров. Это были немцы, которых интересовали картины, наши соседи Рахманов и Чинаров, актеры Кторов и Остужев, художник Константин Коровин и писатель Пантелеймон Романов. Из родственников по-прежнему дядя Дима, теперь директор отделения Госбанка, с женой Анной, темноглазой блондинкой с тонкими чертами лица, и дядя Альфред с тетей Кларой. Последний однажды повел меня в кинематографическое ателье посмотреть, как снимают картину. Помню нестерпимо яркий свет прожекторов с раскаленными углями, шум, жару и актеров в гриме с примочками из холодного чая на воспаленных глазах.

Я продолжал ходить с Аркадием в театр. Лучшими постановками в то время были те, где играл замечательный актер Михаил Чехов: «Потоп», переводная американская пьеса, «Петербург» Андрея Белого, «Блоха» по Лескову и «Эрик XIV» Стриндберга.

В это время в Большом театре почему-то поставили парадный спектакль — очень слабую, на мой взгляд, французскую оперетку «Дочь мадам Анго», лубочно-веселую картину о французской революции. Верхом абсурда был вставной номер, вызвавший недоумение публики: четыре балерины, из тех, кто танцует «у воды», одетые по последней парижской моде в очень короткие черные платья и лаковые туфли на низких каблуках, коротко подстриженные «под мальчика», танцевали фокстрот под музыку, сфабрикованную в Москве под названием «Мисс Эвелин».

Иногда Веве звал меня на бега, я охотно ехал. Московский ипподром был, вероятно, самым красивым в Европе, особенно летом, с его роскошным садом посреди круга с пышными клумбами цветов и фонтанами, скамейками на усыпанных красным песком дорожках, буфетом и нарядной толпой, гуляющей под музыку, доносившуюся с трибун. В этой обстановке Протазанов, главный режиссер киностудии «Межрабпом-Русь», снимал несколько сцен своей новой комедии «Папиросница из Моссельпрома» с первой советской звездой экрана Юлией Солнцевой, еще недавно воплотившей образ марсианской принцессы в фильме по роману А.Толстого «Аэлита». Тонкая и гибкая брюнетка, с греческой головкой и большими, темными глазами, она была настоящей красавицей.

Сорок лет спустя во Франции, в Канне, во время кинофестиваля на парадном ужине, устроенном моим старым другом Сергеем Гамбаровым в честь советских приезжих кинодеятелей, я сидел за столом рядом с полной пожилой дамой, уже вдовой маститого режиссера и фаворита Сталина Довженко. Во время ужина я распинался в комплиментах и воспоминаниях, говоря о ее таланте, красоте, успехе, «Аэлите»... Выдохнувшись, я умолк. Тогда Юлия Солнцева, советская королева экрана, тихо спросила меня: «А где здесь можно достать хорошие нейлоновые чулки?»

Просторная комната, одновременно гостиная и столовая, с большим абажуром над широким столом посередине, диваны, стулья, ковры, книги, много картин, если не слишком ценных, то выбранных со вкусом, пианино — вот, где я проводил вечера у А. Я скоро привязался к этой семье и хорошо себя чувствовал в спокойно-оживленной атмосфере вечеров. Мать и отчим показывались только к вечернему, по русскому обычаю, чаю, умно считая, что не надо смешивать два поколения. Кроме З.,

кузины сестер, бывали у них три студента, сын известного в Москве врача-окулиста, уже взрослого холостяка с претензиями на светскость, из иностранцев — немец из фирмы Люфтганза, организующей первую воздушную линию Москва — Кенигсберг, и коммерческий атташе персидского (сегодня бы сказали иранского) посольства. Мы болтали, играли в «монетку», игру состоящую в том, что надо было угадать в чьей руке находилась спрятанная монета. Случайно я всегда сидел рядом с Надей, передавая мне под столом монету, она всегда дольше, чем нужно, задерживала свою руку в моей.

Иногда небольшой компанией мы шли в «Колизей» обычно за час до начала сеанса. Полагалось прогуливаться в большом фойе, где играл струнный квартет, приветствовать знакомых, есть мороженое или пить сидро в буфете. На Западе я долго не мог привыкнуть, к тому что даже в лучших кинотеатрах прямо с улицы попадаешь в зрительный зал.

Не скрою, что для меня, как для всех молодых людей, главной притягательной силой у А. была Надя, с ее шармом. Она, казалось, ничего не видела особенного в своей внешности, была сдержанной, когда нужно, очень серьезной молодой особой, обезоруживающей своей искренней простотой.

Девушки были неразлучны, и я заметил, что Надя незаметно, но постоянно находилась под надзором сестры. Мать их, между прочим, немецкого происхождения была всегда очень деликатна, отчим, занимавший пост в Комиссариате просвещения, в отделе охраны памятников старины, был интересным человеком и собеседником. Мне легко дышалось в этой семье и их доме, куда я попал чисто случайно.

Иногда я уходил последним, и Надя всегда меня провожала в прихожую. Минуту спустя дверь открывалась и выглядывала голова Вали. Меня сместило, что Валя, вероятно, думала застать нас врасплох.

У меня опять проснулось желание увидеть Третьяковскую галерею. На этот раз я обратил внимание на околдовывающее творчество Борисова-Мусатова, на его видения прошлого — запущенные парки старинных усадеб с тоскующими женщинами у водоемов, бледными статуями в зелени аллей, как будто прислушивающимся к мертвой тишине. Я покидал галерею еще во власти этого очарования и с трудом возвращался к повседневности.

Окружающая меня Москва жила в иной атмосфере. Два очередных увлечения охватили всех — игра в шахматы и новые американские танцы. Танцевали в казино «Зон» и в ресторане «Ампир» на Петровских линиях. Гостями были иностранцы и состоятельные представители нэпа — новые фабриканты и импортеры. Григорий, бывший в курсе всех новостей, не смел там показаться, но посещал частную школу танцев, где по субботам устраивалась танцулька для приглашенных.

Одев мой первый, сделанный на заказ у военного портного, бывшего денщика моего дяди Димы, костюм, я отправился по адресу школы Бычкова, где меня ждал Григорий. Танцкласс состоял из просторного зала с многочисленными стульями вдоль стен, зеркалами и пианино, за которым сидел Оскар Мюнц, композитор и тапер. Несколько молодых людей танцевали модные танцы уанстеп, фокстрот и шимми в манере эстрадных танцоров, но намного сдержанней, в отличном простом и элегантном стиле, подобного которому я не видел ни в Берлине, ни в Париже. Природный талант русских к танцам и здесь давал себя знать. Мы покинули школу ночью, я — с убеждением, что для того чтобы научиться этим танцам, нужны не уроки, а музыкальный слух.

Что касается шахмат, то эта эпидемия была прекрасно показана в сатирическом советском фильме «Шахматная лихорадка». Играли всюду — в кафе, на скамьях бульваров, в трамваях,

в поездах. Всеобщее поветрие повлияло на правительство: был организован Международный турнир в Москве, в большом холле отеля «Метрополь». Я помню зал под куполом, с фонтаном посреди столов игроков. Участвовали знаменитости: Ласкер, старый чемпион мира в течение 27 лет, сморщенный как сухой гриб и обсыпанный пеплом своей вонючей сигары; русский чемпион Боголюбов, квадратный как комод, в рубашке с оскар-уайльдовским воротником; нынешний чемпион мира Капабланка, элегантный красавец, похожий на жиголо, затянутый в синий костюм, с белыми гетрами и крупным бриллиантом на мизинце. Он не сидел за доской — как кубинец он не мог терпеть запаха дешевой сигары своего противника, гулял между столами, иногда возвращался и делал ход. И заплатил за свое легкомыслие — проиграл Боголюбову к вящему торжеству русской публики.

В этом же году, в Москве, на Малой Дмитровке, 6 показали новые фильмы «Розита» и «Багдадский вор» с американскими королями экрана Дугласом Фэрбенксом и Мэри Пикфорд. Однажды, проходя по Кузнецкому мосту, я увидел на углу, возле отеля «Савой», толпу, окружавшую автомобиль, в котором сидели эти звезды. Мэри Пикфорд с сияющими глазами и ослепительной улыбкой подписывала направо и налево автографы, рядом сидел усталый мужчина Дуглас Фэрбенкс с угасшим взором и повисшими, как плети, руками.

Я рассеянно прислушиваюсь к московским слухам о трудностях, чинимых властями по отношению к иностранным концессионерам, о новых налоговых обязательствах, не предвиденных в международных договорах и содержащих скрытые ловушки. В кругах отца поговаривают о беспокойстве, вызванном отношением правительства к немецким коммерсантам якобы под давлением секретаря партии и тайного советчика Сталина.

Семья А. ничего не знает об этом, их жизнь течет безмятежно и непоколебимо прочно, в их доме никогда не говорят ни о политике, ни о правительстве, эти сюжеты — табу. Между прочим, я узнал, что Надя работает в Комиссии по охране старины как машинистка отчима, выигравшая московский чемпионат с максимальной скоростью 120 букв в минуту.

Я получил письмо от Веве из Севастополя. Он пишет, что с ножом у горла был вынужден принять службу местного директора «Сахаротреста». Его секретарь должен отбыть трехмесячный срок дежурства на военной службе, и я мог бы его заменить, получить его жалование, а у Веве комнату в его большой квартире. Город прекрасный, цены — вполчину московских. Письмо заканчивалось требованием обратного ответа. Я, не задумываясь, говорю с отцом, он убежден моим уверенным тоном и выдает мне сумму на покупку билета, что я и делаю незамедлительно, послав в Севастополь телеграмму. У меня остается только время попрощаться с Аркадием, Григорием, и А. Григорий приветствует мое предприятие. У А. на это смотрят с недоумением, Надя не понимает мою скоропалительность, не разделяет мое горячее желание увидеть другие города, других людей, узнать другую жизнь, она как будто пожимает плечами. У меня же в душе звучат стихи Гумилева:

Свежим ветром снова сердце пьяно,  
Тайный голос шепчет: «Все покинь!»

Я выхожу из поезда на платформу вокзала в Севастополе, где меня ждет Веве, загорелый и веселый. Здесь тепло, небо, серое в Москве, тут лазурное, вижу необъятное, на вид неподвижное Черное море. Наш извозчик подымается в верхний город. На просторной площади вокруг собора воскресный колокольный звон, на тенистой улице под сводом пышных каштанов

наш одноэтажный меблированный дом с палисадником. В этом городе не знают жилищного кризиса. Веве мне представляет Валентину, пожилую служанку, которая готовит обед и убирает дом. После туалета, бритья и трапезы, во время которой я объедаюсь упоительно вкусными жареными в подсолнечном масле баклажанами, Веве мне предлагает прогулку по городу. Мы идем вниз по каменным лестницам к порту. Город красивый и безукоризненно чистый, как корабль, амфитеатром спускается к морю. После тенистых улиц, где изредка тишину нарушают звуки рояля, мы проходим через Приморский сад с девицами на скамейках, поглощающими романы, сад, воспетый Анной Ахматовой. От Графской пристани с памятником адмиралу Нахимову из черного мрамора и бронзы открывается вид гавани с серыми, похожими на уютги, военными судами на якорях. Главная улица удивляет количеством фотографов, баров с разноцветными цилиндрами для сиропов и баночками воды для собак, а также кинотеатром, где показывают «Ню», новый немецкий фильм, сделанный по драме Осипа Дымова, с участием венской знаменитости Елизаветы Бергнер и немецких корифеев Конрада Фейдта и Эмиля Яннингса. Мы смотрим этот фильм, игра актеров производит на нас сильное впечатление.

По случаю моего приезда Веве приглашает меня на ужин в ресторан гостиницы «Франция», по его словам, местный «Ритц». В баре Веве приветствуют бармен и две смазливые женщины в компании турецких офицеров. В этот вечер ресторан, излюбленный местными кутилами и иностранными моряками, мог предложить жареное филе ягненка, по словам фамиллярно-почтительного метрдотеля, «тающее во рту».

На утро мы идем к шефу милиции, с которым Веве в лучших отношениях. Нам предлагают чай и папиросы, Веве меня представляет как своего временного секретаря. Узнав о моей иностранной национальности, шеф качает головой и говорит, что, в

принципе, подчеркивая это слово, я не имею права уезжать дальше, чем на 60 верст от Москвы, но... он улыбается своими великолепными зубами «Вы друг Веве, которому я не могу ни в чем отказать. Но я прошу вас быть осторожным». Глядя на нас, он прикладывает палец к губам.

Наша жизнь разворачивается следующим образом. После утреннего чая мы спускаемся к графской пристани. Контора находится в торговой части порта и выходит на улицу. Депо с пристанью открывается позади на воду, там причаливают каботажные суда с грузом. Кроме Веве и меня, есть еще двое служащих — счетовод с большими усами и бесцветная машинистка. Веве объясняет мне ход работы и мои функции. Мы периодически получаем груз сахара, который распределяется среди кооперативов, государственных магазинов и т.д. Доставленный морем, он страдает от «усушки», «подмочки» и «утруски», которые не должны превышать известный процент. Контроль устанавливает потерю и регистрирует ее. Моя работа заключается в определении легального количества, входящего в эту норму, и того, которое может быть изъято и перепродано частникам по вольной цене. Последним занимался счетовод. При дележке Веве сохранял львиную долю. Я после всех вычислений заполнял коносаменты — длинные полосы печатной бумаги. Надо было быть очень внимательным, малейшая ошибка могла вызвать подозрение контроля и ревизию.

Иногда мы днем вместо обеда идем в порт к татарам есть чебуреки, замечательно вкусные пирожки с начинкой из рубленого барашка с луком и травками, жаренные в кипящем бараньем сале — традиционное восточное блюдо приятное на вкус, но вредное для здоровья. Его мы запивали легким белым крымским вином. Вечером часто просто закусывали дома и отправлялись в отель «Франция» выпить чашку кофе.



Я нашел в доме шкаф с книгами. Иногда, не выходя вечером, я читал историю французской революции и навсегда вынес мое глубокое убеждение, что единственным днем славы в эту кровавую эпоху была историческая дата 9-го термидора.

По вечерам в Приморском саду происходит гулянье, напомнившее мне Петропавловское училище в Москве. Здесь мальчики и девочки также гуляют порознь. Под желтыми фонарями, темной листвой и серебряными бликами лунного света проходят девочки во главе со здешней красавицей Викторией, конечно, первой ученицей. Она идет с высоко поднятой головой, ни на кого не глядя, породистая блондинка явно польского происхождения, за ней бежит ее свита. Только в России существовал и существует подобный культ личности, когда невозможна демократия, когда народу нужна не свобода, а идеальный властелин.

Я получаю мое первое жалованье, покупаю подарок для Веве — кожаный бумажник и приобретаю у турецкого матроса пару отличных ботинок ручной работы.

Мы устраиваем ночные пикники у Георгиевского монастыря, белеющего в полутьме самого красивого пейзажа в Крыму. Веве, когда-то служивший в какой-то автомобильной роте, умеет управлять машиной, берет одну напрокат, и мы едем с корзиной всяких яств и бутылками. Нас сопровождают те же две демимонденки из ресторана «Франция». После перевала под яркими звездами бархатно-черного неба открывается панорама, от красоты которой захватывает дыхание. Даже наши дамы перестают щебетать. Эта картина есть у Лермонтова:

...ночь светла, пустыня внемлет Богу,  
и звезда с звездой говорит.

Наша холостая жизнь подошла к концу, разведенная жена Веве сообщает о своем приезде с отцом и матерью. Несколько дней спустя они обосновываются в квартире. Мы предпринима-

ем пикник у Георгиевского монастыря и дальнюю экскурсию в Балаклаву — место исторической битвы во время Крымской войны. Это бедное селение татар, ютящихся в глиняных мазанках, что придает всему городу ржавый оттенок. Температура позволяет нам провести весь день на пляже, теще Веве делает фотографии, одна из них сегодня в одном из моих альбомов.

## VII

Я получаю письмо от отца, он пишет, что Станиславский согласился принять меня в качестве стажера в свою новую Оперную студию и советует мне послать ему выражение благодарности, что я и делаю обратной почтой.

Через несколько дней я прощаюсь с Веве и его семьей и сажусь в московский поезд. Мне кажется, что Григорий был прав, говоря, что путешествие пойдет впрок. Я возвращаюсь в Москву другим человеком.

Там меня ждут сюрпризы. В мое отсутствие к нам домой заходила Надя А., чтобы узнать, когда я собираюсь вернуться. Отец назвал ее настоящей красавицей и восхищался ее удивительными глазами. Другой сюрприз — подарок прекрасного темно-серого в полоску костюма, привезенного одним из знакомых немцев. Нужна незначительная подгонка, по этому поводу советуюсь с Аркадием и его братом, который шлет меня к одному из лучших портных в городе Райзману, отцу молодого кинорежиссера. В новом костюме меня отец представляет Станиславскому.

Представим себе Витторио де Сика, но выше ростом, элегантнее, представительнее и обаятельней, чем знаменитый итальянский актер и кинорежиссер, который отличался этими ка-

чествами. Несмотря на все это Константин Сергеевич меня не смутил — этому помешали его шарм, любезность и благожелательность.

Я хотел бы отметить одну мало известную черту характера Станиславского и позволяю себе процитировать строки моих воспоминаний, названных «Письма к Кожевникову».

« ...этот величественный колосс, этот глубокий мыслитель, этот гениальный реформатор театра отличался одной слабостью — он был денди. Встретив его, я с первого раза понял, что все изысканные детали его туалета были результатом обдуманного плана.

После провозглашения новой экономической политики Станиславский получил возможность побывать в Берлине и посетить лучших поставщиков. Он часто менял костюмы, один из них был особенно импозантен: из тонкого черного сукна в тонкую белую полоску с белоснежной сорочкой и перламутрово-серым галстуком, заколотым жемчужиной, с запонками манжет из сибирского нефрита с маленьким бриллиантом посередине, его цепочка часов была из платины, все, как я узнал позже, работы Фаберже. На его сияющих ботинках были надеты по тогдашней моде светло-серые гетры.

Главным атрибутом было золотое пенсне на широкой черной ленте. Станиславский никогда не оставлял его в покое, не читая, он держал его в руке, раскачивая или крутя им в воздухе. Желая убедить собеседника, он одевал его на нос и смотрел в упор, потом ронял и засовывал в жилетный карман, чтобы сейчас же вынуть. Все эти эволюции были гармоничны и изящны».

Я был представлен администратору Остроградскому, который ввел меня в курс моих обязанностей.

На следующее утро в 9 часов я был на посту в доме Станиславского. Это был особняк, построенный, вероятно, в начале 19



Мать Е. Рейса. К. Коровин. 1922

Владимирский собор в Киеве, где был крещен Е.Рейс







Автопортрет в воротах ограды. Е.Рейс

Е.Рейс. 1926

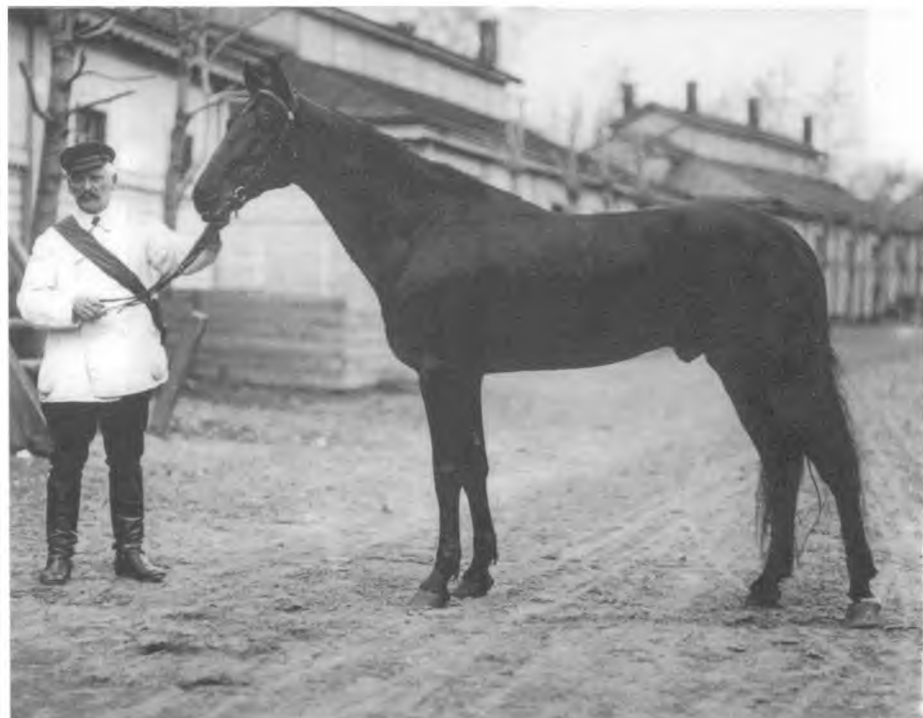






Аркадий Данильянц, друг Е.Рейса

Надя А.



Трюк — гнедой жеребец от Боб-Дугласа и Тахи. Рекордист 1926 года  
Наездник — Ратомский

века в Леонтьевском переулке на Тверской. Вход в вестибюль с четырьмя мраморными колоннами был из сада, из вестибюля двери вели в кабинеты Станиславского и Остроградского и на лестницу в мезонин и первый этаж — личные апартаменты Станиславского. Мое бюро находилось на антресолях с окном в холл. Занятия мои заключались в разборе почты и составлении черновиков писем Луначарскому, Каменевой в Кремль, некоторым иностранным послам и даже некоторым меценатам Студии из категории крупных нэпманов. Все эти послания состояли из приглашений, выражений благодарности и чаще всего просьб о финансовых поддержках и субсидиях.

Предстоящее выступление Студии проектировалось в виде двух сцен из оперы Чайковского «Евгений Онегин» в помещении Кубу, т.е. Комитета по улучшению быта ученых, в реквизированном дворце миллионерши Коншиной, бывшей, между прочим, родной бабкой моего парижского друга Александра Кожевникова. Дом этот стоит на Пречистенке, 1.

Студия не имела постоянной труппы, исполнители были все учениками Станиславского. Эти две сцены потребовали около ста репетиций. Станиславский преподавал бесплатно, не все ученики имели средства на жизнь, иные жили впроголодь, только в России были фанатики, жертвовавшие всем ради «святого искусства».

На следующий вечер я пришел к А., был встречен улыбками и восклицаниями, что не помешало уловить некоторый холодок. На следующей неделе я, выйдя из Студии, направился в бюро, где работала Надя и предложил ей пройтись и проводить ее домой. Мы гуляли вокруг храма Христа на гранитных террасах под белыми шарами фонарей. Я с энтузиазмом говорил о моей поездке в Севастополь и рассказал о моей работе у Станиславского. Надя отнюдь не разделяла моего оживления, с грустью ответив, что все это, может быть, и забавно, но не серъ-

езно, в мои годы надо только учиться, жертвовать всем, тяжело работать и приобрести солидные знания, так как будущее принадлежит техникам. Все остальное — лишь ветер. Я слушал, не отвечая ни слова. Что я мог ответить? Я не мог признаться, что мои родители жили как птицы на ветке и не могли мне обеспечить 5 — 6 лет учебных занятий, я не мог говорить о моей неприязни к власти, отнявшей у нас все, бросившей отца в тюрьму и выселившей его в Сибирь. Это сделал старый режим, но и новый никому ничего не вернул. Для Нади человек, родившийся в России, знавший русский язык, был русским. Я же легально был иностранцем в чужой стране. Мой друг Кожевников всегда говорил, что голубь, родившийся в конюшне, — не лошадь. Надя не знала этой истины. Она не могла меня понять, ее детство и отрочество были безоблачны, она была нетронутым существом, неспособным на мрачные мысли, ищущим только обеспеченности, благополучия без неожиданностей, без романтики и веры в чудеса. У меня не хватало смелости сказать, что это она живет в мечтах о какой-то солидной оседлости, тогда как я вижу будущее в мрачных красках и полным угроз. Тайный голос повторял мне, что у меня только один путь — путь моей судьбы. Мы шли молча, по-московски: под руку и в ногу, каждый был погружен в свои мысли.

Сквозь туман низкое солнце висит, как апельсин, над синими сугробами. Черной тенью метнулась галка, мохнатые снежинки медленно падают. Долго глядя на них, чудится, будто они висят недвижно, а дома, желтые фонари и весь город плывут вверх.

Севастопольский опыт мне очень помог в моей работе, которая была нетрудной. Не будучи в контакте с учениками, я получал директивы только от Остроградского. Почти каждый день я встречал Станиславского в холле, на мой поклон он отвечал

улыбкой и внимательным взглядом прищуренных глаз, чего он никогда не делал на сцене. Один раз он остановил меня, чтобы спросить, где я купил мой галстук, что мне польстило. Это был простой вязаный галстук из черного шелка с узкой, светлой вертикальной полоской по тогдашней моде. Через день я зашел в магазин на Кузнецком мосту, купил его и поднес Константину Сергеевичу.

Однажды он вызвал меня в свой кабинет и, как мне показалось, нерешительно спросил, где я купил мою меховую шапку. Наутро мы сели в санки лихача и поехали на Петровку в магазин моего знакомого купца Куприянова, где Станиславский был принят со всеми почестями и дал заказ на шапку из канадского бобра.

Три наши главные певицы были сопрано Майя Мельтцер, меццо Мария Гольдина и Инна Ш., также меццо, о голосе которой я не берусь судить, но слушать ее речь было удовольствием. Ее музыкальный голос был глубоким и теплым, и она говорила на очень красивом русском языке. Среднего роста, с матовой кожей, гладкими каштановыми волосами в тяжелом узле, с большими агатовыми глазами, одетая всегда во все оттенки «кофе с молоком», она обладала гармоничной внешностью и была очень привлекательна.

Однажды в конце дня она поднялась в мое бюро получить некий сертификат, поговорила о разных студийных делах, и так как было пора закрывать, мы вышли вместе на улицу, где она попросила меня ее проводить: «Я живу недалеко, на Большой Дмитровке». По дороге я узнал, что она уроженка Петрограда, где она мечтала о карьере оперной певицы, но, будучи нетерпеливой и требовательной к себе, была разочарована своими способностями. «Теперь я должна думать о другой карьере», — сказала она задумчиво. Мы остановились перед ее парадным,

«Я живу здесь. Теперь вы должны мне рассказать вашу жизнь. Приходите пить чай в воскресенье».

После Севастополя Москва мне кажется грязной, на улицах толпы народа, на базарах процветает мелкая торговля. «Частники», энергичные и изворотливые, находят товары в им одним известных местах, продают много и скоро и во всем опережают медленно работающие государственные магазины, со служащими, не заинтересованными в барышах. Мелкие нэпманы и их жены выставляют свое благополучие с им присущим вульгарным и наивным цинизмом. Москва перенаселена, на улицах то и дело слышится провинциальный говор со словечками неизвестными до сих пор, вроде: «извѣняюсь». Можно подумать, что весь юго-западный край переселился в Белокаменную.

Перелистывая «Запад», периодический журнал, посвященный западным странам, я читаю статью о советском дипломате, приезд которого вызвал сенсацию. Все газеты писали о «фраке Чичерина», этого подлинного аристократа, потомка пресловутого начальника недоброй памяти Тайной канцелярии при Екатерине Второй и Павле Первом. Он ослепил Запад своей внешностью, манерами гранд-синьора, эlegantностью и неотразимым личным шармом, сделавшими для Советской России больше, чем вся пропаганда Коминтерна. Лозунг Чичерина был: «Внушать доверие и обольщать». В моем окружении многие уже предвидят конец золотых дней нэпа и возврат, если не к голоду, то к аскетической жизни.

Инна снимала одну большую комнату в квартире «бывших людей», довольных ее соседством. Десять минут, которые я провел в ней, пока она приготавливала чай на кухне, позволили мне отчасти ознакомиться с личностью хозяйки. В просторной комнате с двумя окнами на улицу, с гардинами и бархатными

портьерами, стояли диван, два кресла и два стула из карельской березы, сделанные, вероятно, в первой половине 19 века. Между окнами небольшая витрина-библиотека заключала в себе несколько прелестных фарфоровых статуэток и чашек. Я пробежал взглядом корешки книг и прочел имена авторов — Пушкина, Блока, Бальмонта, Кузмина и переводы Бодлера, Уайльда, Гюисманса, Роденбаха, Д' Аннуцио... Все они меня заинтересовали, и я дал себе слово их прочесть. В углу был туалетный стол с тремя зеркалами и воланами из кретона, уставленный хрустальными флаконами и двумя серебряными канделябрами с сиреневыми свечами. В другом углу стояла большая тахта с множеством разноцветных подушек. Две лампы под шелковыми абажурами и пианино дополняли обстановку. На бледных серо-синих обоях висели несколько старинных акварелей, портреты прекрасных дам в пышных туалетах и голубых гусаров в героических позах. В воздухе витал еле уловимый аромат духов. Я понял, что здесь Инна была в своей атмосфере.

Она вошла с большим подносом. Я смотрел на ее тонкие руки с красивыми ногтями, на их движения, на неторопливую ловкость, с которой она разливала чай. Вероятно, позабыв о своем желании услышать про мою жизнь, она сказала мне, что, выйдя рано замуж за бывшего коннозаводчика, она в 21 год была уже вдовой, муж скончался от «испанского» гриппа. Ее жизнь была посвящена урокам пения. Покинув консерваторию после бесплодных поисков ангажемента, она решила переехать в Москву и поступить в нашу Студию. Обзаведясь некоторыми знакомыми, вела жизнь, в общем, приятную, где большое место занимал театр. В Художественный она получала бесплатные билеты. Мы говорим о предстоящем спектакле в Кубу, в котором она участвует, затем Инна предлагает мне ее сопровождать на новую постановку Станиславского «Дни Турбиных», на ко-

тору у нее будут билеты. Я с благодарностью соглашаюсь, и через несколько дней мы идем пешком — Художественный за углом. Еще до начала меня охватывает своеобразная атмосфера театра. Зрительный зал, построенный в стиле венского Сецессиона, со стенами, покрытыми материей нейтрального цвета, толстые ковры, мягкое освещение, удобные кресла — все это создает комфортабельную, успокаивающую обстановку. Гладкий серый занавес украшен только эмблемой театра — вышитой летящей чайкой.

Пьеса, инсценировка романа Булгакова «Белая гвардия», на мой взгляд, лучшее литературное произведение в прозе в России 20 века, имела сюжетом жизнь семьи в трагические дни гражданской войны в Киеве и была прекрасно сыграна и поставлена. Создавшееся настроение после представления не рассеивалось, по традиции Художественного театра публика не аплодировала.

После спектакля Инна повела меня к Надежде Адельгейм, жившей в двух шагах от театра. Эта дама была дочерью одного из двух братьев Роберта и Рафаила Адельгеймов, драматических артистов-гастролеров, когда-то знаменитых во всей России. Надежда, унаследовав от отца большую квартиру, обратила ее в род клуба, где люди известного слоя встречались, чтобы поболтать, узнать новости, послушать выступающих молодых поэтов или поиграть в преферанс. В буфете можно было получить чай, кофе, бутерброды, пирожные. Хозяйка дома, грандиозных размеров дама, сидит в зале как на троне, вся в черных кружевах, обвешанная фальшивыми драгоценностями, с веером в руке, другую, всю в кольцах, она поднимает высоко для поцелуя. Нам приносят черный кофе с лимоном. Инна здорова-ется с разными людьми, все как будто знают друг друга. Все они отлично одетые «бывшие» люди. Вот один, высокого роста, с косым глазом, еще молодой, зовется Савва Морозов и принад-



лежит к династии купцов-миллионеров и меценатов. Другой, Нелидов, в прошлом камер-юнкер, супруг Гзовской, одной из главных актрис МХАТа, что означает «Московский Художественный академический театр». Все они занимают маленькие посты в администрации театра под крылом Станиславского и не рискуют быть высланными из Москвы куда-нибудь как недорезанные буржуи.

Я вижу вокруг себя что-то, напоминающее комнату Инны, те же синие обои, похожую мебель карельской березы, старинные тарелки на стенах. Появляется пара, Инна с ними знакома. Красивая сероглазая брюнетка Кира И., одна из немногих дам московского полусвета, и ее кавалер Ефим Ш. — крупный делец, один из магнатов нэпа, холеный господин небольшого роста с особенно мягкими манерами и негромким голосом, к которому собеседники внимательно прислушиваются. Инна умело выводит меня из некоторого смущения, мы получаем приглашение после парадного спектакля на ужин в «Литературном кружке».

Как сотрудник Станиславского я часто бывал в Кубу, читая немецкие газеты или книги, раз в неделю присутствовал на просмотре иностранных кинокартин. Запомнилась «Варьете», цирковая трагедия с Эмилем Яннингсом и Лиа де Путти. Попав на генеральную репетицию сцен из «Онегина», я в первый раз увидел большой зал особняка Коншиной с двумя группами белых мраморных колонн перед гигантским стеклом, за которым виднелся зимний сад. В Париже Кожевников рассказывал мне, что его бабка заказала это стекло в Венеции, где его отливали три месяца и везли полгода водой в Москву.

На другой день состоялся спектакль в присутствии сливок московского общества во главе с Луначарским и Станиславским. Инне пришлось петь Ольгу в сцене бала у Лариных, кото-

рую давали в начале. В финале последнего акта она сидела с нами в зрительном зале. После представления, оваций, речей, публика стала разъезжаться. Я обратил внимание на туалеты наших дам. Инна была в платье из крепдешина цвета беж с колье из дымчатых топазов, а Кира в простом черном с чудесным палантином из шиншиллы и крупным бриллиантом на пальце. Все это очень шло к ее блестящим серым глазам с длинными черными ресницами.

На улице нас ждал автомобиль Ефима с шофером. Литературный кружок помещался в подвале дома почти рядом с Елисеевым. При входе вежливый, но суровый контроль фильтрует гостей. Нас он не касается, Ефим здесь хорошо известен. В первом зале ресторан, где наш стол зарезервирован и убран цветами и канделябрами. Во втором — танцевальная площадка, окруженная столами. В глубине находится эстрада с роялем. Гости съезжаются, меня представляют сестре Киры. Алла, не будучи красавицей, выделяется эксцентричной прической рыжих волос. Одета с большим вкусом. Ее сопровождает нэпман с большим носом, который смотрит на меня с недоумением: он дядя моего приятеля и, вероятно, считает меня еще мальчиком. Инна узнает в одном из гостей Москвина, одного из самых главных актеров 1-й Студии МХТ, причем упоминает о новой постановке пьесы Островского «Горячее сердце», в которой она надеется получить место. Кружок мне очень нравится, на публику приятно смотреть. Как говорят за столом, это единственное в Москве место, где не рискуешь увидеть за соседним столом налетчиков, как это бывает сплошь и рядом в казино «Зона» и в «Праге». В этом городе теперь слишком много грязных денег. После осетрины нам подают рябчики в сметане, мы пьем французское шампанское, от которого приятно кружится голова. Служат старые официанты, все когда-то бывшие метрдотелями в лучших московских ресторанах, клиентов они назы-

вают по имени-отчеству, слова «гражданин» или «товарищ» им незнакомы. После мороженого мы переходим в соседний зал пить кофе и смотреть программу. На эстраде появляется сдобный, напудренный мужчина. Гаркави я уже видел в кафе «Бом», он поет последнюю московскую новинку:

Сквозь ночной туман  
Мрачен океан  
Мичман Джон угрюм и озабочен  
Получил приказ  
Прибыть через час  
Мичман Джон не может быть неточен

и заканчивает:

. . . . . крепи на борт  
Страшна дорога  
Но виден порт!  
Ты будешь первый  
Не сядь на мель  
Чем крепче нервы  
Тем ближе цель!

После Гаркави выступает его жена, красивая и эксцентричная Людмила Семенова, вернувшаяся из Парижа, где она видела в кабачке на улице Лапп тогдашнюю звезду Фрезель, певицу и танцевавшую последнюю парижскую новинку «Жава». Семенова удачно ее имитирует, ей долго аплодируют. За роялем вездесущий Оскар Мюнц.

Начинаются танцы, Ефим, будучи немного ниже ростом своей дамы, просит меня быть кавалером Киры. Инна танцует хорошо, но Кира лучше. Ефим пьет коньяк и курит гаванну. Зал редет, начинают гасить свет. Мы собираемся и выходим на улицу, нас ждет машина. Я искренне благодарю за вечер, но предпочитаю вернуться пешком. Мне хочется разобраться в своих впечатлениях.

Меня обуревали противоречивые чувства. Юношеское самолюбие было польщено сегодняшним вечером, проведенном в «Кружке», самом малодоступном месте для избранной публики в обществе двух прелестных молодых женщин и человека, которого уважали, если не за деньги, то за умение их приобретать. Это рождало во мне чувство собственного превосходства, до сих пор незнакомое. Я понимал, что всем этим я обязан Инне, открывшей мне окно в иной и секретный для многих мир. Я испытывал чувство благодарности ей, мне казалось, что она становится для меня инструментом будущих успехов. Я также думал о том, что сказала бы Надя о моем времяпрепровождении, случайно узнав о нем. Я спрашивал себя, в чем была моя вина и, не находя ответа, пребывал в состоянии замешательства.

Приходит Аркадий и осыпает меня упреками: как я могу жить, не зная, что происходит вокруг? Он рассказывает о друге его брата, Тер-Оганесове, который присутствовал на сенсационном процессе американской концессии «Лена-Голдфилдс», устроенном как спектакль в Колонном зале. После декретов Кремля, буквально обобравшего американскую компанию, последняя подала не в международный, а в советский суд. В результате большевики организовали «показательный процесс», где судили американских капиталистов за «покушение на страну рабочих и трудящихся». После обвинительной речи прокурора-палача Вышинского вердикт был ясен: американцы теряли все: оборудование, запасы золота, деньги на текущих счетах... Тер-Оганесов видел, как Аверелл Гарриман, президент компании, видный мужчина в элегантном костюме, выслушав стоя приговор, сломал и бросил карандаш, бывший у него в руках.

Инна предлагает мне посетить с ней Третьяковскую галерею. Мы отправляемся в ближайшее воскресенье. Проходя по

залам, я жду ее реакций. При виде репинской картины «Иван Грозный убивает своего сына» Инна презрительно роняет: «За границей эта картина висела бы в музее восковых фигур». Дальше мы останавливаемся перед пейзажами Николая Рериха. Для Инны в этих полотнах выражена вся поэзия Севера, как и в музыке Грига, несправедливо недооцененной, и в пьесе Ибсена «Пер Гюнт», которую она считает шедевром. По ее мнению, он создал самый трогательный и поэтический женский образ — Сольвейг.

Я жду, что Инна скажет о картинах Борисова-Мусатова и удивлен ее заключением: лиризм художника вызван страданиями горбатого артиста, способного жить только в мечтах, тоска его героинь была его тоской. Для Инны «Остров любви» Сомова так же загадочен и тосклив, как «Отплытие на остров Цитеру» Ватто, самого печального из великих художников. Левитан тоже выразил всю свою грусть в живописи.

Я читаю данные Инны в нашей картотеке и вижу дату ее рождения: 1899 год. Не тот факт, что она старше меня на 7 лет шокирует, но само сознание, что она родилась в прошлом столетии.

Встретив ее в вестибюле, узнаю, что она уезжает в Питер на неделю и просит меня быть на вокзале к ее приезду.

Вечером иду к А., готовый к холодному приему. Но я ошибаюсь. Сестры меня приглашают на вечеринку в честь американских гастролеров — «Шоколадных ребят», негритянского ансамбля, на гастролях в Париже потерявшего свою звезду, Джозефину Бекер, которую переманило казино «Де Пари». Здесь они с джазом Сэма Вудинга, который будет играть для танцующей публики.

Приходит Борис Ф. Это от него исходит приглашение, за что я его благодарю. Он всегда очень любезен со мной, но мне было

неловко искать его общества по одной причине: он сын очень богатого человека. Его отец, инженер-машиностроитель, был крупным специалистом в фаворе у властей. Заработав состояние на поставках во время войны, он ничего не потерял из-за революции, продолжал жить в своем особняке, ездил по городу в спортивном двухместном автомобиле «изотта-фраскини» и держал на бегах трех рысаков, на которых он и его старший сын Борис ездили на призы как «охотники», т.е. любители. Невзирая на революцию ездила на своих лошадях также бывшая помещица Костенская, что было беспримерным случаем.

В день вечеринки Борис заезжает за нами к А. У Нади, в бирюзовом платье, какой-то сказочный вид. Я чувствую ее сдержанное возбуждение.

Мы приезжаем на Софийку, позднее обретшую свое старое название Пушечная, — в 17 веке здесь лили пушки. «Вечеринка» состоится в огромном помещении клуба против «Альпийской розы» — ресторана моего детства, с гротами и гномами. У входа, охраняемого милицией, толпа. Пройдя сквозь строгий контроль, мы сдаем шубы в гардероб и попадаем в огромный зал, уже наполненный многоцветной толпой. Здесь вся танцующая Москва. В буфетах приготовлено в больших вазах астрономическое количество круассонов, напитка из белого вина, коньяка, апельсинов, лимонов и бананов. Представление негритянского ансамбля с пением и танцами начинается в неистовом темпе и вызывает оглушительный энтузиазм публики.

Я видел живых негров первый раз в жизни и сразу подумал, что эта раса создана только для пения и танцев. Все это было поразительно, как и все, что было связано с Америкой, мощной страной, выигравшей войну в Европе, страной единственного на земном шаре огромного индустриального и финансового потенциала, страной силы и красоты в спорте и фильмах Голливуда.

да, страной оптимизма, жизненных сил, веры в Бога и в будущее.

В большом зале убирают стулья, гости устремляются в салоны к буфетам выпить первый стакан клюшона.

После вступительного блюза, написанного Вудингом в честь Москвы под названием «Хэлло, Москау!» начинаются танцы. Здесь вся молодая московская элита. Я узнаю в публике лучших танцоров Зякина и Матсона (последний недавно открыл эlegantную школу танцев), вижу Павла, брата Аркадия, он в новом темно-синем в полоску костюме от лондонского портного Генри Пуля, у которого ему сделали манекен, что позволяет заказывать и получать платья без примерок. Павел, как говорили в Москве, «интересный» мужчина, напоминающий голливудскую звезду Кари Гранта. Я танцую с Надей, мы несколько раз подходим к буфету пить клюшон, предательский напиток, от которого быстро кружится голова. Надя млеет, но танцует с упоением. Во время паузы, Борис нас находит и представляет одного из музыкантов. Мы опять пьем у буфета, негр указывает черным пальцем на свою крахмальную грудь и по-английски говорит: «Я — Бейб». Через два года я его встречаю в Париже на площади Пигаль. Мы продолжаем танцевать. Надя млеет все больше, я чувствую, как она тяжелеет и все крепче обнимает меня, ее голова горит, плечи вздрагивают, я не знаю, смеется она или плачет. Музыка утихает, стены, огни, танцующие кажутся зыбкими, тают в сером тумане, все смешивается, отдаляется и стирается в моем уснувшем сознании.

В назначенное утро я жду Инну на вокзале. По обычаю полагаются цветы, я держу одну розу в восковой бумаге. Поезд подходит. Из спального вагона с его деревянной обшивкой и бронзовым гербом, всего заросшего сверкающим, розоватым инеем, выходит Инна в незнакомых мне дорогих мехах. Носильщик

кладет ее чемодан в санки, и мы молча едем — певицам нельзя говорить на морозе. У ее двери она просит меня подождать, через несколько минут возвращается с конвертом в руках — это контрамарки на «Горячее сердце».

С самого начала пьеса Островского трогательна и полна юмора. Кульминационным пунктом является появление на сцене Москвина в роли разбогатевшего откупщика и самодура, в которой артист раскрыл свой огромный талант. В конце публика, от восторга потеряв над собой контроль, устроила Москвину грандиозную овацию с криками и аплодисментами, несмотря на всем известное запрещение. Зрители продолжали смеяться на улице. Мы также с улыбкой входили к Надежде Адельгейм.

Дни летят, вот и Рождество. С родителями я еду обедать к дяде Альфреду. Дом и хозяева чуть постарели, и я больше не был маленьким мальчиком, которого угощали сладостями. Дела здесь не блестящи, но дядя Альфред не унывает, он по-прежнему оптимистичен. На праздники у нас много визитеров, за исключением немцев, уехавших на каникулы в Берлин.

Инна говорит, что Ефимчик, как все, кроме меня, его называют, приглашает нас встречать Новый год в «Кружок».

В этот вечер захожу к Инне, она уже в новом платье, от нее исходит волнующий запах незнакомых духов под названием «Митсуко». Она очень хороша, но напряженно-нервна.

В «Кружке» большая елка, на столах удвоенное количество канделябров. Многие подходят к нашему столу, чтобы пожать руку Ефиму. Я замечаю советника итальянского посольства, очень популярного в «Кружке» господина с лицом в страшных рубцах и стеклянным глазом — следами войны. Другой, секретарь «знатного» чиновника Внешторга, только что вернувшийся из Америки, где он был со своим шефом с важной миссией. С ног до головы одетый в новое, преувеличенно американское платье, он в этот вечер не подозревает, что ждет его в этом году:



быть вместе со своим шефом арестованным, судимым и расстрелянным.

С нами ужинают сестра Киры и ее эскорт, примирившийся с моей молодостью. Я вижу в зале Рахманова, заметив меня, он хитро улыбается и делает вид, что аплодирует. Приближается полночь, столы освещают свечи и улыбки дам. Выстрелы пробок, звон бокалов, взаимные поздравления и поцелуи, и мы в 1927 году.

Элегантный мужчина с седыми висками входит в зал, окруженный молодыми людьми, это Алексеев, конферансье из «Кривого Джимми», кабаре, заменившего знаменитую «Летучую мышь» Никиты Балиева, эмигрировавшего в Америку. Он грациозно поднимает руку, прося слова, поздравляет гостей с Новым годом и объявляет об обещанном сюрпризе в изысканных выражениях. Гости с нетерпением ждут и устраивают овацию, услышав имя Вари Паниной.

Здесь я должен прервать мой рассказ и упомянуть о кумире всей России, цыганке Варе Паниной, пению которой с глубоким волнением внимали в Петербурге и Москве Лев Толстой и Великие князья.

Варя Панина была дочерью великой певицы-цыганки. Не обладая ее бархатным контральто, она в совершенстве переняла манеру своей матери, ее репертуар и своеобразные мизансцены. Она появилась, встреченная с энтузиазмом этой достаточно избалованной публикой. Как ее мать, Варя пела по цыганскому обычаю, сидя, в своем глухом черном платье с длинными рукавами, ее черные волосы были причесаны на прямой пробор с узлом на затылке. На ней не было ни единой драгоценности. По сторонам и чуть позади стояли два цыгана в атласных казаки-нах с гитарами в руках. За ними, у самой сцены, горели свечи в четырех канделябрах. Певица оставалась в полной тени. С первых же аккордов гитар и низких нот голоса захватило колдовст-

во музыки, которую ни один русский человек не может воспринимать без волнения. Пока она звучала, наваждение длилось, рождая страх перерыва и молчания.

Когда этот голос умолк, только после паузы зрители, придя в себя, разразились аплодисментами. Певице целовали руки, подносили цветы, поздравляли. Произведенное ею впечатление не рассеивалось, оркестр не решался играть, и дирекция понимала, что танцы сейчас не к месту. За нашим и другими столами люди сидели задумавшись, только официанты бесшумно скользили, подливая шампанское. Песня окончилась, но мелодия будто продолжала звучать.

Мы выходим на шумную улицу, табуны молодежи кричат: «С Новым годом!» Кругом восклицания, шутки, смех. Инна благодарит, но отказывается сесть в машину Ефима, мы прощаемся и поворачиваем в первый переулок. Ночь тиха, вдали изредка слышатся пьяные голоса. Голубой месяц висит в небе. Американским ключом Инна отпирает парадную дверь и глухо говорит: «Я боюсь остаться одна... войдите».

За окнами синее рассвет. Я слышу шепот Инны: «Я знаю, что ты не спишь». Она говорит о своей жизни, о разочаровании, о том, как она устала бороться, о том, что у нее и ее больной матери средства на исходе. Ее жизнь не может так продолжаться. Для нее якорь спасения это брак по расчету. Старший друг ее покойного мужа, пятидесятилетний вдовец, в прошлом коннозаводчик, а в настоящем наездник в Питере, в этом году уходит в отставку и назначается директором конного завода вблизи города. Он предложил ей «соединить два одиночества», стать его женой, жить с ним и ее матерью в просторном доме при заводе, с прислугой и без всяких материальных забот. Жизнь артистки слишком тяжела, успех более чем проблематичен, она должна считаться с реальностью и искать только обеспеченности. Такая жизнь будет проще, без изощренности души, свойственной

всем, кто живет в отвлеченном мире искусства. Для нее это будет концом состояния постоянной усталости.

Голос Инны затих, она уснула. Я одеваюсь и осторожно выхожу из квартиры. Медленно иду по еще пустынным улицам, потрясенный этой неожиданной и странной первой и последней близостью, щедростью жеста этой незаурядной женщины, ее ясным умом и твердым характером. Я преклоняюсь перед ее культурой, вкусом, совершенством ее одежды, чуть заметным гримом, глубиной ее глаз, ее руками, ароматом... Мне кажется, что она меня обогатила чем-то редким и ценным, что я узнал в часы, проведенные вблизи нее.

## VIII

Родители говорят об их решении уехать в Германию. Моя более чем благоприятная реакция их успокаивает. Мы долго говорим о том, что возврат к нормальной жизни был только временным и теперь подходит к концу, задушенный в сталинских тисках. Наше решение, принятое в здравом уме и твердой памяти, является совершенно правильным.

Мы думаем, что в свободном мире мы обречем прошедшие времена. Наш отъезд будет не только передвижением в пространстве, но и путешествием в четвертом измерении, т.е. во времени.

Друг отца, О., устраивает ему свидание с советником германского посольства, которому передает наши австрийские бумаги с прошением о проживании в Германии для нашей семьи. Посольство занимается интересами австрийцев и их поддержкой. Мне О. привозит книжку — путеводитель по городу Берлину, который я скоро выучу наизусть. Отец, бывавший в Бер-

лине, признается, что не знает этого города так же хорошо, как я!

Инна — первый человек, которому я сообщаю о нашем решении, заключает: «Твои родители правы, и это лучше для тебя». У нее усталый, изможденный вид. С утра до вечера она занята упаковкой своих вещей для отправки в Питер. Мне она говорит: «Я со всеми распрощалась, приезжай на вокзал, ты будешь один».

В вокзальном ресторане у нас только время выпить по рюмке мадеры на счастье. На платформе я вижу Инну в окне ее купе, она вставляет мою розу в хрустальную вазочку на стене. Кондуктор опускает стекло. Третий звонок. Инна наклоняется ко мне и произносит: «Это была минута на пути». Она протягивает руку и крепит меня. Этот благословляющий жест — последний. Поезд трогается, три красных огня тают в ночном тумане.

С чувством пустоты в душе я бреду по мрачным улицам. Инна, как метеор, пролетела через мою жизнь, но я всем существом еще чувствую ее присутствие, она оставляет мне незабываемое воспоминание.

На следующий день в Студии я гляжу на дверь, за которой я так часто слышал чудесный дуэт из первого акта «Евгения Онегина», который Инна пела с Мельтцер.

Проходит 10 дней, нас вызывают в германское посольство. Мы получаем паспорта взамен просроченных австрийских и бессрочные визы.

Следующие хлопоты, более сложные, в Комиссариате иностранных дел. Мы обязаны заполнить невероятное количество анкет, опросных листов в нескольких экземплярах, подписать много бумаг и передать фотографии, сертификаты, всяческие копии и получить заверение о выдаче всех бумаг на выезд из РСФСР через 6 месяцев.

Мы постепенно начинаем продавать все, что составляет нашу собственность, за исключением четырех старинных персидских ковров и картины Венецианова. Помимо мебели, картин и фарфора, мы продаем все — шубы, носильное платье, обувь, галстуки, шляпы и шапки, так как за советские рубли мы имеем право в госбанке получить валюту по официальному, а не вольному курсу, что дает нам возможность почти утроить наш капитал и обеспечить себе годы жизни в Берлине. Я лелею мысль о покупке фотографического аппарата. Вся наша жизнь проходит в ожидании и заботе ничего не забыть, не упустить.

Моим последним посещением театра была премьера в Большом оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам», поставленная режиссером Художественного театра Диким. Трели колоратуры Неждановой, фантазмагория венецианской сказки, поток изумительной музыки — все было как бы апофеозом моей московской жизни. Знаменитый марш как будто символизировал наш отъезд.

Мы прощаемся с родными и знакомыми. Все желают нам счастья, как будто не вполне веря в наш отъезд. В их отношении к нам появляется какая-то отчужденность, может быть, оттого, что в России даже самые несчастные люди видели в эмиграции род дезертирства.

В Студии мы прощаемся со Станиславским. Он сам надеется быть в Берлине в будущем году. Я в это время буду в Париже, но отец организует у наших богатых знакомых, русских немцев Заксе, торжественный ужин в честь Константина Сергеевича.

Одна из певиц Студии с хитрой улыбкой спрашивает меня, не собираюсь ли я переехать в Ленинград?

Я узнаю, что компаньон Ефима, который находился в Берлине, предпочел в связи с последними слухами не возвращаться

в Москву. В результате Ефим был арестован как заложник и посажен в Бутырку.

Дни летят, вот мы в июне 1927 года. Я заранее даю Аркадию мой адрес до востребования в почтовом бюро на Линк-Штрассе в Берлине. Отец рассказывает о дошедших до него сведениях о Щербаковых. Ему с женой удалось пробраться через всю Сибирь в Харбин, где он и умер от разрыва сердца. Годы спустя его вдове, красавицу Лидию, видели в Шанхае уже женой американского полковника.

Германское посольство извещает нас, что по новому декрету выездные визы обязуют нас покинуть территорию РСФСР не позже 48 часов после получения. К нашим услугам будут места в поезде Москва — Рига, постоянно резервированные для дипломатического корпуса.

С этого дня мы живем на уложенных чемоданах, готовые к отъезду в любой момент.

Мне остается только попрощаться с Аркадием, Григорием и Надей. Я иду к ней в бюро, она еще работает и выходит в коридор. На ее лице я вижу только упрек, она не говорит ни слова. Мы стоим, застывши, друг перед другом. Я не помню, как я вышел на улицу.

Нас вызывают в Комиссариат, на этот раз, внутренних дел, для получения виз, действительных в течение 48 часов. Мы подписываем обязательство о невозвращении в РСФСР. Эти зеленые листы, полные ограничений, запрещений и угроз, подписаны Ягодой, одним из самых свирепых палачей, который скоро закончит свою карьеру с пулей в затылке.

Я один в коридоре спального вагона, через приоткрытое окно дует теплый ветер.

Мои мысли мчатся впереди меня. Я один с моей жадой узнать мир, меня манит призрак счастья. Устав от дум, я ложусь на верхний диван, стараясь не потревожить отца. Все наши бумаги у проводника, мы можем спать спокойно, наши дипломатические купе пограничный контроль не открывает.

Раннее утро. Родители еще спят. Я смотрю в окно, поезд идет по Латвии, это уже Европа. Аккуратные дороги, чистенькие домики с цветами в палисадниках. Приносят чай и бисквиты, мы приближаемся к Риге, столице страны, в 12 веке принадлежавшей тевтонским рыцарям. Из открытого окна уже виднеется шпиль готического собора. Короткий и веселый дождь прекращается, косые лучи солнца пересекают темные тучи от горизонта к горизонту, гигантская лента радуги тающих цветов простирается триумфальной аркой над моей дорогой в жизнь.

Подобно Михаилу Булгакову, Марку Алданову, Владимиру Горовицу и Александру Вертинскому, Евгений Рейс родился в Киеве, в семье австрийского консульского чиновника. Годы Первой мировой войны и революции провел с родителями в Зауралье. В 1926 году он становится стажером в бюро Оперной студии К.С.Станиславского, где работает до отъезда из России.

В Берлине Рейс получает должность второго ассистента кинооператора Карла Фрейнда. По его рекомендации был принят в фирму «Агфа», где изучал технику фотографии и сотрудничал в фотоагентуре. Едет в Париж, где поступает в киноателье Патэ в качестве фотографа. После краха фирмы в 1930 году возвращается в Берлин и открывает свое фотоателье на Курфюрстендамм, выполняющее заказы для иллюстрированной прессы. В 1936 он снова в Париже, работает в области моды. Первой моделью Рейса была Лиза Фонсагрив, будущая жена Ирвинга Пенна, фотографа с мировым именем. Встречается с Александром Кожевниковым, зная его с 1929 года, и его дядей, Василием Кандинским. С 1946 года в продолжении 10 лет бывает наездами в Лондоне, где работает в ателье своего друга Барона, придворного фотографа.

В 1951 Рейс едет в Америку. Здесь он встречает многочисленных парижских и берлинских друзей и бродит как очарованный странник, околдованный фантастическими пейзажами этого метрополиса, с его домами-башнями, летящими в небо, светом и тенями нового Вавилона. Позднее на вопрос «что вы делали в Нью-Йорке?», он отвечал: «Жил!».

В Париже он оставляет фотографирование мод и несколько лет делает снимки дворцов, садов и парков во Франции, Англии и Италии для журнала «Дом и сад».

В 1959 году прекращает фотографировать и открывает картинную галерею в Париже. Одновременно с 1950 по 1992 год пишет статьи для газеты «Русская мысль». Знакомится с худож-



никами Ларионовым и Гончаровой, сотрудничает с Камиллой Грей, автором капитального труда «Русский авангард», и устраивает их выставки в Лондоне и Париже.

С начала 1998 года пишет статьи по-русски и по-английски для ежемесячника «Европейский вестник», выходящего в Лондоне. Это сотрудничество продолжается по сегодняшний день.

За эти годы Рейсом написаны три книги: «Радуга» — воспоминания о юности, проведенной в России, «Кира Керн» — картина берлинского Курфюрстендамма в 1932—1933 годах и «Кожевников, кто вы?» — история 40-летней дружбы с русским философом, скончавшимся в 1968 году.

---

#### Кредо Рейса

Фотография есть искусство света и теней, создаваемых художником. Рейс, поклонник родоначальника современной фотографии англичанина Сесилия Битона, с презрением отзывается о модной фотографии с плоским и монотонным светом без теней, называя эту манеру «освещением операционного стола». Рейс не лучшего мнения о фотографах, которые, для чего-то лежа на полу, не перестают щелкать аппаратом, вероятно, предполагая, что из 36 отпечатков, хоть один будет путным.

Алла Тер-Абрамова

Рейс Е. Г.  
Р 35 Радуга: Автобиографические записки / Послел.  
А. Тер-Абрамовой. — М.: Русский путь, 1999. — 120 с.,  
илл.

ISBN 5-85887-060-0

Воспоминания известного в Европе и Америке фотографа Е. Рейса о детстве и юности, проведенных в России, воскрешают колоритную атмосферу 1910—1920-х годов.

Прогулки с няней в Царском саду, путешествие на пароходе по Волге, пасхальная заутреня в храме Христа Спасителя... Первая мировая война — начало «хождения по мукам», революция, НЭП...

Впечатления о России «с ее новым названием Р.С.Ф.С.Р.», быт и анекдоты тех лет, знакомство с «дном» столицы, Хитровским рынком, и цветом театральной Москвы, работа в Оперной студии Станиславского, первая любовь и дружба...

ББК 84 (2Рос) 6



Евгений Германович Рейс

Радуга

*Автобиографические записки*

Редактор Б.З. Ящина  
Художественный редактор Т.Л. Белкина  
Корректор Е.Н. Куткина

ЛР № 040399 от 03.03.98.  
ЗАО «Русский путь». Тел. 915-10-47

ISBN 5-85887-060-0



9 785858 870609 >

Отпечатано в типографии издательского дома «Грааль»



Русский путь